

Феликс ДАН

БИТВА ЗА РИМ



Серия исторических романов

Феликс Дан

Битва за Рим

«ВЕЧЕ»

1876

Дан Ф.

Битва за Рим / Ф. Дан — «ВЕЧЕ», 1876 — (Серия исторических романов)

Роман известного немецкого писателя Феликса Дана повествует о жестоком противостоянии племен остготов и Восточной Римской империи. Междоусобные распри, интриги и предательства, раздиравшие королевство варваров, сделали бывших союзников врагами. Роман «Битва за Рим» был необычайно популярен в кайзеровской Германии. В XX веке книгу не раз экранизировали. Наиболее известен двухсерийный фильм с гениальным Орсоном Уэллсом в главной роли.

© Дан Ф., 1876

© ВЕЧЕ, 1876

Содержание

Об авторе	6
I	8
II	19
III	22
IV	28
V	33
VI	40
VII	45
VIII	50
IX	54
X	57
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Феликс Дан

Битва за Рим

© ООО «Издательство «Вече», 2013

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Об авторе

Немецкий юрист, историк, романист и поэт Феликс Людвиг Юлиус Дан родился 9 февраля 1834 г. в Гамбурге, в семье актера Фридриха Дана и его первой жены Констанции Ле Гай. Учился в Мюнхене, где закончил сначала гимназию, а потом и университет, получив степень доктора права. В 1865 г. стал штатным профессором Вюрцбургского университета. В 1872 г. Ф. Дан возглавил кафедру государственного и финансового права в Кёнигсбергском университете, а в 1877 г. даже стал ректором. В 1888 г. Дана пригласили в Бреслау, где он тоже в конце преподавательской карьеры был в течение учебного года ректором университета. Первым крупным печатным трудом Дана была юридическая монография по процессуальным вопросам (1854), но всего через два года он выпускает поэму «Гаральд и Теано», а вслед за ней – сборник стихов (1857). Как поэт Дан считается мастером ритма, рифмы и поэтического слога. В те же годы Дан заинтересовался ранней историей германских племен, выпустив первую работу по этому вопросу в 1858 г. Три года спустя Дан начинает издавать свою историю германских королей, последний (11-й) том которой вышел в 1909 г. От германцев, точнее от готов, Дан переходит к изучению жизни и творчества Прокопия Кесарийского, раннесредневекового писателя, описывавшего племена готов. Как историк Дан был учеником Теодора Моммзена, лауреата первой Нобелевской премии по литературе.

В 1870 г. университетский профессор на волне германского патриотизма отправляется на войну с Францией. В сражении под Седаном Дан получает ранение. Видимо, не случайно первой серьезной работой ветерана стала книга «Военное право». Но интересы строгого ученого-правоведа все больше склоняются к литературной деятельности. Он пишет национально-патриотические драмы «Маркграф Рюдигер», «Король Родерик» и «Немецкая верность». Историю германцев он воспринимает через средневековые баллады и сказания. Дан выпускает «12 баллад» (1875), потом – вместе с женой Терезой – книгу «Валгалла. Сказания о германских богах и героях». Наряду с этим Дан готовит серьезную историческую работу «Вестготские исследования» (1875). Крупнейшим событием в жизни Дана в послевоенное время стала работа над романом «Битва за Рим». Сюжет романа вытекает непосредственно из готских исследований писателя. Он хорошо познакомился с фактографией эпохи. Решающую роль в успехе книги, изданной в 1876 г., сыграл патриотический подъем, в тот период образованное немецкое общество буквально накинuloсь на изучение своих корней. Роман Дана, повествующий о противостоянии остготского королевства и Восточной Римской империи в первой половине VI в., изобилует живыми образами и подлинными биографическими характеристиками. Это, безусловно, способствовало легкости восприятия исторического материала и придавало авторскому рассказу историческую достоверность. Впоследствии подобные романы в Германии стали называть «профессорскими». Роман «Битва за Рим» был необычайно популярен в кайзеровской Германии. В 1894 г. по его мотивам композитор Франц Ксавер Шарвенка написал оперу «Матасвинта». В XX в. роман не раз экранизировали. Наиболее известен двухсерийный фильм «Битва за Рим» Роберта Сиодмака с Орсоном Уэллсом в главной роли.

Много сил писатель потратил на создание серии из 13 романов, действие которых происходило в эпоху переселения народов. В их числе такие произведения, как «Аттила», «Гелимер», «Хлодвиг», «Батавы», «Отец и сыновья». Популярностью пользовались «Сага о Хальфреде Зигскальде», «Утешение Одина», «Крестonosцы» и другие его произведения. В 1881–1889 гг. Дан написал «Праисторию германских и романских народов». Большое место в его творчестве заняло издание «Автобиографии» (1890–1895), разросшейся до 3000 страниц. Феликс Дан был также автором нескольких комедий и ряда оперных либретто, но эти жанры не относились к сильным сторонам его творчества. Всего Дан написал за свою жизнь более 30 000 страниц, что дает возможность причислить его к самым творчески активным авторам

XIX в. Скончался видный ученый и плодовитый писатель 3 января 1912 г. в г. Бреслау (современный Вроцлав в Польской республике).

Анатолий Москвин

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ФЕЛИКСА ДАНА:

«Битва за Рим» (Ein Kampf um Rom, 1876)

«Крестоносцы» (Die Kreuzfahrer, 1884)

«Аттила» (Attila, 1888)

«Юлиан Отступник» (Julian der Abtrünnige, 1893)

«Хлодвиг» (Chlodovech, 1895)

I

Прошло немногим более полутысячелетия со времени рождения Христа Спасителя.

Теплая летняя ночь накрыла черной шапкой прекрасные берега древней Адриатики. Ни единой звездочки не виднелось на небосклоне, скрытом густыми клубящимися тучами, бешено мчавшимися под напором порывистого ветра. Грозное дыхание разыгравшейся бури безжалостно трепало стройные пинии и нежные маслины, покрывающие склоны гор, окружающих Равенну. Мирно спит итальянская столица Германской империи, несокрушимая твердыня, возведенная великим Теодориком как бы в пику Древнему Риму, развенчанному его победителями – готами. Побежденные гордые потомки римских героев утешают свое больное самолюбие, называя своих завоевателей еретиками и варварами, но это не помешало арианам-готам создать великую империю на развалинах Древнего Рима, и гений германского народа, казалось, воплотился в величественную личность Теодорика, к ногам которого пали изнеженные внуки когда-то непобедимых Сципионов и Германиков. На развалинах римского могущества выросло царство готское, с которым тщетно пытались справиться византийские императоры, все еще носившие громкий титул «римских цезарей», несмотря на то, что разноплеменные варвары уже давно доказали потомкам Константина Великого пагубное значение разделения мировой империи на западную и восточную, разделения, равнозначного уничтожению древнего ее могущества и народной силы.

Год от года смелей делались дикие и полудикие племена, тесным кольцом окружавшие великую римскую державу. Год от года становилось трудней бороться с ними изнеженным потомкам цезарей. Все чаще откупались они золотом от врагов, которых уже не могли победить оружием, откупались до тех пор, пока не нашлись великие умы между варварами, устоявшие перед соблазном золота, предпочитая ему славу завоевания.

Началась борьба завоевателей между собой.

Великий вождь славянства Одоакр не одно десятилетие оставался полновластным хозяином Италии, все еще носившей название Западно-Римской империи. Его сменил другой завоеватель, легендарный герой германцев, вождь готов – Теодорик... Долго боролись между собой два богатыря, два народа, два принципа, – но, наконец, Теодорик одолел Одоакра, и на развалинах славянского государства создано владычество готов... Теодорик Великий спокойно царствовал в своем неприступном горном гнезде, более похожем на крепость, чем на столицу.

Крепко спит Равенна, не заботясь о бешеных порывах ветра и грозных раскатах грома, гулким эхом рассыпающихся в окрестных горах. Гроза небесная не пугает храбрых готов, не боящихся никого и ничего на свете, кроме немилости своего вождя-короля, национального героя.

Не пугает приближающаяся гроза и старого воина, неподвижно сидящего на ступеньках полуразрушенной лестницы древнего храма Нептуна, выстроенного на одном из ближайших холмов язычниками и уничтоженного победой христианства. Ныне от роскошного святилища остались жалкие развалины. Ночной ветер свободно разгуливает по опустевшим дворам, по молитвенным залам с обвалившимися потолками. Неумолимое время довершает свою разрушительную работу... Иногда тяжелый камень скатывается к ногам неподвижно сидящего, угрожая раздавить его своим падением, но одинокий готский воин не шевелится, несмотря на видимую опасность, поглощенный собственными мыслями. Все так же неподвижно сидит он на вершине заросшей кустами и травами лестницы, устремив напряженный взор на Равенну, скрытую в ночной тьме, не замечая бурных порывов ветра, треплющих его седые кудри, выбивающиеся из-под шлема, украшенного громадными турьими рогами, и длинную серебристо-белую бороду, падающую широкой волной на могучую грудь.

Долго сидел старый богатырь неподвижно, точно каменное изваяние, пытливо вглядываясь вдаль сквозь тонкую завесу начинающегося дождя. Внезапно глубокий вздох поднял тяжелый железный панцирь, и жизнь, казалось, вернулась к этой одушевленной статуе. Глубоко впалые глаза под белыми бровями ярко сверкнули, а сильные руки, опиравшиеся на громадный древнегерманский меч, разжались.

– Идут, – прошептал старый воин. – Наконец-то... Это они. Я в них не ошибся... – И вторично глубокий вздох шевельнул серебристые пряди белой бороды, а радостная улыбка осветила суровое, строгое лицо.

Медленно, величественной поступью спустился он по шатающимся мраморным ступеням навстречу приближавшемуся факелу, казавшемуся звездочкой, тщетно борющейся с темнотой бурной ночи.

Быстрые мужские шаги заметно приближались и вместе с ними приближался красный свет восковой свечи, защищенный от дождя и ветра красивым фонарем на длинной рукоятке. Художественная работа этого светильника, искусно выкованного из красной коринфской меди и расширявшегося кверху в красный шестиугольник, все стороны которого заполняли тонкие пластинки слоновой кости с выточенными на них сложными узорами, была поразительна. Молодой же человек, державший этот прелестный светильник, был так прекрасен, что, казалось, рука его не могла прикоснуться к чему-либо грязному или нечистому.

Трудно было бы художнику найти более подходящую модель для статуи Феба-Аполлона, чем этот молодой воин-германец с золотистыми волосами и ярко-голубыми глазами. По костюму его можно было принять за римлянина. Когда юный красавец остановился посреди уцелевшей колоннады языческого храма в своей короткой белой тунике из легкого византийского шелка, украшенной широкой золотой вышивкой, то он казался Богом Солнца, освещающим темноту ночи всепобеждающей силой красоты. Высоко подняв факел обнаженной рукой, украшенной широкими золотыми обручами, он оперся другой рукой на длинное копье, и откинув полу плаща, придерживаемого на правом плече драгоценной золотой пряжкой в форме дракона, проговорил мягким грудным голосом:

– Привет тебе, Гильдебранд, сын Хильдунга... Ты видишь, мы все явились на твой призыв, несмотря на погоду, мало подходящую для отдаленных прогулок за городом... Говори же, в чем дело, отец наш? Объясни нам причину твоего таинственного приглашения.

– Да, дедушка... Мы сгораем от любопытства, – произнес спутник молодого красавца, сходство с которым сразу выдавало их близкое кровное родство. Но сходство двух братьев не мешало старшему казаться почти безобразным рядом с прекрасным юношей. Чудовищная сила, воплотившаяся в старшего брата Тотиллы, портила красоту линий, отличавшую изящную фигуру младшего.

– Говори, отец Гильдебранд, – повторил он слова младшего брата. – Объясни нам, зачем понадобилось тебе промочить нас до костей, вызывая в эту глупую развалину?

– Подожди, – спокойно ответил старик, – пока подойдут остальные. Я вижу Витихиса, но не вижу Тейи.

– Тейя идет за мной, – ответил подымавшийся по лестнице храма третий воин, в строго выдержанном национальном костюме готов. Даже волосы его были пострижены «в скобку» на лбу, падая сзади на плечи, согласно старинной германской моде, изображенной и на древних римских памятниках.

Витихис казался значительно старше первых пришедших. Ему могло быть лет тридцать пять или сорок, и он все еще оставался красивым и стройным мужчиной, на которого женщины легко могли заглядываться. Но особенно прекрасно было его лицо. Строгое и серьезное, оно как бы освещалось большими серыми, честными глазами, под тонкой дугой темно-каштановых бровей.

– Тейя сейчас будет здесь, – повторил Витихис звучным голосом. – Мы вместе вышли из Равенны, но по своему обыкновению, он предпочел одиночество и выбрал другую дорогу... Да вот и он, – добавил Витихис, указывая рукой на нижние ступеньки мраморной лестницы, по которым двигался юноша, немногим старше Тотиллы, красота которого могла бы соперничать с сияющей красотой златокудрого Аполлона, если бы выражение прекрасного лица не поражало мрачной безотрадностью. Черные, как вороново крыло, волосы падали на плечи Тейи длинными беспорядочными локонами, казавшимися змеями, извивающимися вокруг прекрасной и грозной головы медузы-горгоны. Бездонные черные глаза его горели загадочным блеском, а классически правильные черты смертельно-бледного лица выражали холодное, почти мертвенное спокойствие, порожденное, очевидно, не природным равнодушием, а глубокой безнадежностью отчаяния человека, раз и навсегда примирившегося со своей судьбой, покончившего не только со всеми радостями жизни, но даже и с горестью и слезами, последними остатками надежды или сомнения. Вполне отвечало характеру и наружности Тейи и избранное им вооружение из вороненой стали, черный цвет которой мог соперничать с безжизненным блеском его красивых, мрачных глаз. Кроме обычного меча и кинжала оружием Тейи служил большой железный топор, насаженный на длинную рукоятку. Зато он не носил шлема на свободно развевавшихся черных кудрях. Он приветствовал ранее прибывших простым наклоном своей красивой бледной головы. Затем он молча стал позади старого воина, движением руки пригласившего своих собеседников окружить высокую колонну, на которой было прикреплено железное кольцо, поддерживавшее принесенный юным красавцем факел.

– Я созвал вас сюда, готские воины, потому, что настало время вести речь о судьбах родного народа, и призвать избранных, могущих помочь своему племени в горький час испытания; не легкомысленно избрал я вас, воины готские... Долго, долго присматривался я к каждому из вас, выбирая достойнейших... Вас указала мне сама судьба, никогда не ошибающаяся и все ведающая повелительница смертных. Когда вы услышите то, что мне надлежит вам сказать, а вам выслушать, то поймете необходимость полного молчания о том, что произнесут мои уста, что услышат ваши уши...

Витихис высоко поднял свою красивую гордую голову, в стальном шлеме королевских гвардейцев, и произнес со спокойным достоинством:

– Говори, Гильдебранд... Мы слушаем тебя с уважением, подобающим твоим летам...

– И высокой доблести воина, бывшего учителем великого вождя германцев, короля Теодорика, – добавил Тотилла с чарующей улыбкой на пурпурных губах, окаймленных золотистым пухом юности. – Но прежде всего сообщи нам, о чем хочешь ты говорить, отец наш, славный Гильдебранд.

– О нашем народе и царстве готов, стоящем на краю пропасти.

– На краю пропасти?.. – с недоумением, полунедоверчиво повторил молодой великан, брат Тотиллы.

– Да, – уверенным голосом ответил старый оруженосец Великого Теодорика. – Мы стоим на краю пропасти, и только ваши соединенные усилия смогут удержать родной народ от гибели и падения.

– Да простит тебе Небо эти слова, кажущиеся мне богохульством, – горячо воскликнул Тотилла. Его прекрасное молодое лицо вспыхнуло от негодования, а ласковые голубые глаза сверкнули почти нестерпимым блеском. – Какая опасность может угрожать нам?.. Разве у готов нет мудрейшего героя, короля Теодорика, которого даже враги называют «Великим»? Под его предводительством завоевана прекрасная Италия, со всеми ее сокровищами. Какое же царство может равняться могуществом, богатством и силой с Германской империей Теодорика Великого?

Старый Гильдебранд печально опустил свою седую голову.

– Все это так, – медленно проговорил он. – Но... Выслушайте меня сначала и возражайте, если можете... Мне ли не знать мудрости, силы и славы Великого Теодорика, вождя и короля готов... Для меня он не только высокочтимый повелитель и господин, но и нежно любимый сын и ученик. Его великие заслуги известны мне лучше, чем кому-нибудь. Ведь я принял его из рук его отца пятьдесят девять лет тому назад, едва родившимся младенцем. И тогда же, глядя на его пухлые ножки и крохотные сжатые в кулачки ручонки, я сказал отцу будущего героя: «Гордись, друг и брат мой... Твой сын достоин своих славных предков. В нем видна кровь Амалунгов, помяни мое слово, старый товарищ, этот крепыш-мальчуган принесет отцу и народу своему честь, славу и радость»... И по мере того как он подрастал, я сам радовался, глядя на него, радовался изо дня в день... Первый самострел ребенка был сделан мною, первого коня мальчика выбирал и объезжал я... Первую рану юноши перевязали мои руки, и мой щит помешал этой ране стать смертельной. Я оберегал его в двадцати сражениях от стрел, мечей и копий вражеских, я же сберег его от более опасных интриг византийских, сопровождая в золотой Дворец Цезарей на берегах Босфора... Когда же судьба повелела готам завоевать Италию, я шел рядом с моим молодым повелителем, шаг за шагом продвигаясь внутрь страны. Мой щит прикрывал его везде и всегда, моя грудь – несчетное число раз... С тех пор, как великий вождь готов стал королем италийским, он приближал к себе более ученых и хитроумных советников, чем его старый оруженосец, но вряд ли был между ними более здравомыслящий, и уж, конечно, никогда не было более преданного, чем Гильдебранд, сын Хильдунга Он, государь, друг и ученик мой, знает это... Но и я знаю, что на земле нет и не было героя, равного Теодорику Великому, с тех пор, как Боги перестали спускаться с неба, принимая образ человека... Не одной силой оружия покорял он народы, основывая царство италийских готов, но безмерным государственным умом, чудесной прозорливостью и чарующей добротой к каждому, приближающемуся к нему. В искусстве управлять людьми, государствами и народами нет ему равного даже между хитрыми греками... Все это я знал, видел и понимал, всему этому имел тысячи доказательств, когда вас, последышей в гнезде готских орлов, еще и на свете не было... Но, увы, ослабели крылья у старого орла. Годы завоеваний тяжело гнетут мудрую голову короля, и он собрался, видно, покинуть нас... Мы, старики, одни умеем сносить бремя жизни, не сгибаясь под тяжестью его, сыновья же и внуки наши уже не в силах соперничать с нами. Могучий герой, сын товарища моего детства, состарился раньше времени. Он умирает от какой-то таинственной и непонятной немочи, подтачивающей силы духовные столь же, сколь и телесные. Врачи говорят, что обманчива мощь геройская, все еще живая в руке, так долго владевшей мечом, и что каждую минуту внезапная смерть может подкрасться к постели короля и убить его... Когда же это случится, когда готы потеряют отца своего, кто останется наследником золотого престола в Равенне?.. Амаласунта, его дочь, и Аталарих, его внук... Женщина и ребенок останутся хранителями царства могучего Теодорика...

Наступило молчание. Присутствующие переглянулись, пораженные одной и той же мыслью. Внезапно Витихис вымолвил голосом, в котором ясно слышалось желание успокоить не только других, но и себя самого.

– Дочь Теодорика Великого – женщина необыкновенная. Она унаследовала мудрость своего отца... Всем известна ее ученость...

– Да, она переписывается с монархами Византии на чистейшем греческом языке и разговаривает с благочестивым епископом Кассиодором по-латыни... Но умеет ли она думать и чувствовать по-нашему, как подобает королеве готов?.. Увы, я сомневаюсь в этом. Я знаю, что эта женщина не может быть монархиней нашей, что она своими слабыми руками не сумеет удержать на верном пути кормило государственного корабля, когда разразится гроза над царством германских готов.

– Но откуда возьмется эта гроза? – воскликнул красавец Тотилла, смело потрянув золотисто-кудрявой головой. – Враги Теодорика Великого, с хитрым византийцем во главе, смири-

лись со своей участью. Император Юстин шлет дары и братские приветствия своему другу и покровителю, королю италийских готов. Римский первосвященник, так долго враждовавший с нами, заменен избранником короля, верным слугой Теодорика. Короли франков – родные племянники нашему великому вождю и следуют каждому его совету. А народу италийскому живется под властью и опекой готов лучше и безопасней, чем когда-либо... Откуда же взяться опасности, Хильдебад?

Молодой исполин, брат говорившего, утвердительно кивнул головой.

– Опаснейшим врагом готов всегда была Византия. Но в Константинополе правит Юстин, великий только по имени, на деле же слабый и безвольный... Я хорошо его знаю.

– А знаешь ли ты так же хорошо его племянника Юстиниана, ставшего правой рукой своего дяди?.. Нет. Не правда ли? – мрачно проговорил старый воин. – Ну а я знаю этого лукавого, скрытного, умного и опасного принца. Он хитер, как лисица, смел, как волк, и в голове его роятся планы, глубина которых испугала меня, хотя в робости никто не может заподозрить сына старого Хильдунга... Не без умысла сопровождал я последнее посольство нашего короля в Константинополь, где нас принимали по-царски. С тех пор я знаю, что Юстиниан мечтает о завоевании Италии и не успокоится до тех пор, пока готы останутся хозяевами этой прекрасной страны.

– Это еще бабушка надвое сказала, – буркнул исполин Хильдебад. – Готов прогнать не так легко, как кажется... Знаешь пословицу, дедушка: сердит да не силен...

– Эх, сын мой... В том-то и горе, что силен враг наш, очень силен... С Византией надо считаться и придется посчитаться, не нынче, так завтра, не вам, так детям вашим, – ответил Гильдебранд.

Молодой великан презрительно улыбнулся, но старый воин не дал ему заговорить, досадливо махнув рукой.

– А ты измерял силу Византии, чтобы так презрительно улыбаться? Вспомни хоть то, что наш великий король двенадцать лет сражался с Византией и все же не мог победить ее... Правда, ты еще не родился, когда мы шли за знаменами Великого Теодорика, – прибавил он спокойней.

Тотилла поспешил на помощь своему брату, не отличавшемуся быстротой соображения, необходимой для споров. С чарующей улыбкой положил он свою красивую руку на плечо старого воина и произнес, как бы успокаивая его возбуждение:

– Ты был бы прав, отец мой Гильдебранд, если бы готы оставались теми же иноземными пришельцами, какими были во время завоевания Италии. Но с тех пор они обрели новую родину, приобрели братьев-союзников, римлян.

Впалые глаза оруженосца Теодорика Великого сверкнули негодованием, и его голос зазвучал, подобно военной трубе готов.

– Юный безумец... Мне жаль тебя. Ты веришь в заманчивую сказку о братстве римлян с готами, мечтаешь о дружбе побежденных с победителями?.. Дитя... Неразумное дитя. Слишком скоро увидишь ты, что Италия не родина-мать германского народа, а злая мачеха, что твои братья-союзники, италийцы, окажутся на стороне наших врагов в случае войны с Византией.

– Я повторяю буквально слова нашего великого короля, – возразил Тотилла, слегка сконфуженный ожесточением старого воина, которого все готы привыкли уважать с момента своего рождения.

– Да, да... – мрачно понурясь, продолжал Гильдебранд. – Я и сам не раз слышал эти заманчивые, сладкие и неосторожные речи от моего повелителя... И кто знает, как тяжело заплатим мы, готы, за слепое доверие вождя нашего к мирным с виду латинянам... Для них мы всегда останемся тем, чем были сорок лет назад, когда спускались с гор и лесов родной Германии: завоевателями, врагами, варварами...

– Но зачем же мы остаемся варварами? – горячо проговорил Тотилла. – Зачем не стараемся перенять у римлян все хорошее, неизвестное нашей родине? Почему бы нам не научиться у италийцев всему, что создало величие Древнего Рима?..

Гневно сверкнули голубые глаза Гильдебранда.

– Замолчи, Тотилла... Не повторяй при мне подобных речей, – властным жестом остановил он речь юноши. – Не растравляй кровавых ран моего старого сердца. Подобные мысли стали проклятием для славного рода Хильдунга, обломком которого остаюсь я, последний старый дуб без веток и корней... Верьте мне, дети мои, латиняне злейшие враги готов... Какими они были, есть и будут до скончания веков... О, если бы государь мой последовал моему совету и, завоевав Италию, истребил бы все мужское население ее, от грудного младенца до дряхлых стариков... Женщин мы бы заставили полюбить нас, но мужчины будут нас ненавидеть от рождения и до смерти... В сущности, они правы. Бывают поражения, которые не забываются... Народ, способный забыть разгром и завоевание своей родины, не достоин существования. Ненависть римлян к готам – единственная черта, достойная нашего уважения. Но тем горячее презираю и ненавижу того гота, который восхищается римлянами и старается подражать им...

– Неужели ты считаешь невозможным всякое соглашение, всякую дружбу между римлянином и готом? – спросил Тотилла после продолжительного молчания, голосом, выдающим значение, придаваемое им этому вопросу.

– Подумай сам, возможно ли это?.. Представь себе человека, вошедшего в пещеру золотого змея и успевшего наступить ногой на его голову. Он уже занес свой меч, но хитрый змей начинает просить пощады. Великодушному германскому витязю становится жаль красивого золотого чудовища. Он отпускает змея на свободу... Поверишь ли ты благодарности пощаженого?.. Конечно, нет. Ты поймешь, что освобожденный змей воспользуется первым же случаем, чтобы отблагодарить неосторожного победителя по-своему. Он подкрадется к нему и вонзит свои зубы в спину пощадившего его... Так же поступят с нами и италийцы...

– Ну и пусть они попробуют подняться, – вскрикнул Хильдебад. – И чем скорее, тем раньше избавимся мы от тайных врагов и предателей. Встретить же их мы сумеем вот этим...

Хильдебад поднял тяжелую палицу и опустил ее на мраморную плиту, которая разлетелась вдребезги, наполнив гулом и треском длинные коридоры полуразрушенного храма.

– Да. Пусть приходят враги, – подтвердил и Тотилла, сверкая глазами, и его воинственное воодушевление сделало его еще красивее. – Пусть приходят неблагодарные римляне и коварные греки, мы покажем им, что у готов остались воины, подобные могучим дубам их германской родины...

Юный красавец с горделивой нежностью взглянул на исполина брата. Старый оруженосец Теодорика одобрительно улыбнулся.

– Да, Хильдебад силен, хотя и не так, как Вальтари, Валамер и другие товарищи моего детства, павшие смертью храбрых на полях бесчисленных сражений, давших нашему вождю прозвание Теодорика Великого. Но все же у готов осталось достаточно сильных воинов. Сила же полезна в борьбе с честными северянами. Но лукавые южане сражаются на свой лад, прячась за окопами. Для них война не то, что для нас, не ряд геройских подвигов, не борьба, доблестных воинов, а хитроумный расчет и злая игра, построенная на обманах, хитростях и предательстве. В конце такой войны целое полчище германских героев будет заманено в какое-нибудь болото или ущелье, где невидимые враги перебьют храбрецов, которым даже защищаться нельзя будет... Я давно знаю этот способ войны, знаю и полководца Византийского, который сам не воин, и даже не мужчина, а побеждает мужественных героев. И ты его знаешь, Витихис.

– Да, я знаю Нарзеса, – задумчиво проговорил Витихис, и его спокойное умное лицо стало так серьезно, что всем было ясно, какое громадное значение придает он словам Гиль-

дебранда. – Да, я знаю Нарзеса, – повторил Витихис после минутного молчания, – и потому должен с тобой согласиться во многом. Больше скажу, – все то, что озабочивает тебя, не раз уж наполняло и мою душу сомнением, почти страхом. Перечисленные тобой опасности отрицать невозможно. Но не все же враги окружают нас, готов... Недаром же государь наш заслужил прозвание «мудрейшего». Он сумел создать себе и друзей, и союзников. Король ванда-лов женат на сестре Теодорика Великого. Король вестготов его родной внук, сын его старшей дочери. Короли бургундов, герулов, тюрингов и франков его племянники или зятя. Они придут нам на помощь в случае войны с Византией. Да и народы их почитают Великого Теодорика. Даже полудикие эсты, даже далекие варвары-сарматы шлют ему почетные дары. Вспомни желтый янтарь и чудные меха, присланные недавно... Все эти союзники чего-нибудь да стоят...

– Ничего не стоят все эти пестрые тряпки и пустые речи, – мрачно возразил старый оруженосец. – Когда придет опасность, все эти друзья, родные, свойственники нашего короля преспокойно останутся в своих клановых прибежищах, предоставив готам возможность самим изведать мощь Византии. Да и никакие союзники не помогут нам победить искусство Нарзеса. Не янтари ли эстов думаешь выставить ты против военного гения?.. Горе нам, если мы сами не сможем справиться с нашими врагами. Родные и друзья нашего монарха льстят ему, пока боятся его могущества. Отними у них страх, и они станут сначала требовать, а затем угрожать нам. Знаю я верность союзников и дружбу королей. Успел насмотреться за свою долгую жизнь... Нет, дети мои, верьте мне, старику: готы могут рассчитывать только на самих себя. И горе нам, если у нас не хватит силы справиться самим со всеми врагами.

Старик умолк и понурил голову. Никто не смел возражать ему. Наступило молчание. Бурный порыв ветра растрепал седую бороду Гильдебранда и едва не сорвал плащ с его могучих плеч. Он гневно сверкнул глазами и обвел взглядом присутствующих. Все молчали, очевидно, соглашаясь с высказанным им мнением. И эта молчаливая группа людей, затерянная в полуразрушенном храме, освещаемом ежеминутно вспыхивающей зеленоватой молнией, казалась жалкой и бессильной посреди разгневанной стихии.

Витихис первый победил невольный страх, вызванный речами старого опытного воина. Высоко подняв свою мужественную голову, он заговорил с той спокойной твердостью, в которой ясно слышится непоколебимая воля.

– Как ни велика опасность, грозящая нам, но она все же не смертельна. И если ты созвал нас, то уж, конечно, не для того, чтобы мы предавались отчаянию, а для того, чтобы так или иначе победить, или хотя бы уменьшить эту опасность... Итак, говори, отец Гильдебранд... Объясни нам, чем можем мы помочь родному народу?

Тяжело опустилась рука старого оруженосца на плечо говорившего, но глаза его радостно сверкнули, а в голосе звучала непривычная нежность.

– Спасибо тебе, Витихис, ты достойный сын моего старого друга Вальтари. Ты первый сказал смелое слово, первый понял, что спасение всегда возможно... Надо только найти, в чем оно... Для того-то я и созвал вас, лучших сыновей родного народа, чтобы вдали от латинских шпионов и римских соглядатаев посоветоваться о том, что делать, что предпринять для спасения империи Теодорика Великого... Скажите свое мнение, дети мои, а затем я скажу вам, что надумала моя старая голова.

Все молча склонили головы в знак согласия, за исключением печального молодого красавца в траурных доспехах, не произнесшего до сих пор ни одного слова.

Гильдебранд пылливо взглянул на него.

– Отчего ты молчишь, Тейя?.. Или ты не согласен с нами?

Тейя поднял свою прекрасную бледную голову, но его мрачное лицо осталось неподвижно, как лицо человека, покончившего с жизнью, а следовательно, и со страхом, и волнениями.

– Я молчал потому, что не согласен с вами, друзья мои, – медленно, но решительно произнес он.

Присутствующие удивленно переглянулись. Гильдебранд нахмурил свои густые, седые брови.

– Что же ты думаешь, сын мой? – спросил он сурово. – Скажи нам свое мнение.

– Я думаю, что Тотилла и Хильдебад не понимают смертельной опасности, угрожающей нам, готам. Я вижу, что ты и Витихис понимаете ее, но все еще надеетесь на спасение, на победу... Я же давно уже ни на что не надеюсь.

– Ты слишком мрачно смотришь на вещи, Тейя. Кто же отчаивается до начала борьбы? – спокойно произнес Витихис.

– Что же нам остается, по-твоему, погибать бесславно, не вынимая меча из ножен? – с негодованием вскрикнул Тотилла.

– Не бесславно, друг и брат мой... Славы у нас будет довольно для того, чтобы отдаленнейшие времена и народы вспомнили, как погибла империя готов, и преклонялись бы перед героями, защищавшими ее. Борьбы, сражений и подвигов будет довольно для того, чтобы дать пищу целому сонму поэтов... Но победы, увы, не будет... Я чувствую, что могущество германских готов приходит к концу, что звезда наша померкла...

– А я верю, что она выплывет из-за неизбежных туч ярче и блестящей, чем когда-либо, – с радостной уверенностью возразил Тотилла. – Надо только предупредить короля об опасности... Повтори ему все то, что ты говоришь нам, Гильдебранд, и его премудрость найдет пути к спасению.

Старый оруженосец Теодорика печально покачал головой.

– Двадцать раз пытался я открыть глаза моему повелителю. Увы, он и слушать не хотел, или просто не может понять меня. Его душа затемнена неведомо чем. В этом главная опасность наша... Но об этом позже... Говори сначала свое мнение, Хильдебад.

Юный великан презрительно улыбнулся.

– Я думаю, что следует не теряя ни минуты после смерти старого готского льва, собрать два войска и справить поминки, достойные великого Теодорика. Одну из армий пусть Витихис и Тейя ведут против Византии, с другой же мы с братом дойдем до Сены и разорим гнездо коварных меровингов... Когда от Лютеции и Константинополя останутся одни дымящиеся развалины, тогда готы могут быть спокойны. На Западе и на Востоке никто уже не станет угрожать нам.

– Ты забываешь, что у нас нет флота, без которого нельзя взять Константинополь, – грустно заметил Тотилла.

– Ты забываешь и о том, что франки могут выставить по семи воинов против каждого гота... Правда, если бы все готы были равны тебе по силе и воинской доблести, то можно было бы еще надеяться на успех. Ты говорил нам, как подобает воину Великого Теодорика, и я благодарю тебя именем больного повелителя... Теперь очередь за тобой, Витихис. Что ты посоветуешь? – обратился Гильдебранд к своему соседу.

– Я бы предложил союз всех северогерманских племен против греков, священный союз, огражденный клятвами и обеспеченный заложниками.

– Ты веришь клятвам потому, что сам не способен нарушить данное слово. К несчастью, таких, как ты, немного осталось в наше развращенное время... Нет, сын мой. Мы сами должны спасти себя от опасности и сможем сделать это, если захотим... Слушайте внимательно мои слова, потомки древних готов.

Старый Гильдебранд торжественно поднял свою седую голову, и его глубоко впалые голубые глаза загорелись огнем юности. Четыре молодых человека благоговейно склонили головы, слушая этого столетнего свидетеля геройских подвигов своих предков.

– Вы все молоды... Все любите что-либо или кого-либо. У каждого из вас есть цель в жизни, личное счастье или личное горе, которое подчас дороже счастья... Но придет время, когда все ваши радости, и даже ваше горе, покажутся вам пустыми и детскими забавами, никому не нужными, как увядшие венки после пира... Тогда многие позабывают земное в мечтах о загробной жизни. Но я не в силах так чувствовать, да и не я один... Много нас, любящих живую зеленую землю, с морями синими, с лесами дремучими, со страстями и немощами людскими, с любовью безумной и ненавистью жгучей, живущей в гордом сердце свободного человека... О загробной же жизни, в бесконечности непонятной, между облаками летучими, где сонмы праведников вкушают блаженство райское, я ничего не знаю... Многое слышал я от христианских жрецов о таком бестелесном житие, а понять его все же не могу... Что же осталось потерявшему все радости, надежды и привязанности личной жизни? Остается одно священное чувство, ради которого стоило жить и умереть, никогда не гибнущее чувство, которое все заменяет и заставляет все забыть... Взгляните на меня, дети мои. Я старый дуб, ветви которого давно обломаны судьбой. Все потерял я, чем дорожил когда-либо. Жена моя сошла в могилу, когда отцы ваши были еще молодыми воинами. Сыновья мои уснули сном храбрых. Внуки мои последовали за своими отцами... Всех взяла безжалостная смерть, всех кроме одного – последнего, который хуже, чем умер, – стал врагом своего народа, изменником... Один остался я, без кровных родных, ежедневно считая угасающих близких. Вокруг меня умирали товарищи детских игр и друзья зрелых лет... Последняя любовь моя, мой сын, друг и повелитель, великий герой моего народа, забота о котором наполняла мою старую душу, король Теодорик, не нынче – завтра сойдет в могилу... Что же останется мне после него? Что может удержать меня на земле? Что даст мне силы жить одному? Что повлекло меня в эту темную бурную ночь, как юношу на любовное свидание? Что горит в моем старом сердце и бурлит под снегом моих белых волос, наполняя душу бесконечной мукой и беспредельной гордостью? Любовь к моему народу, к племени, передавшему мне свою кровь и свою душу, свои чувства и убеждения. К тому племени, которое говорит на одном языке со мной, которое родилось и выросло в далекой милой отчизне, незабвенной и оплакиваемой всегда, везде и всеми. Одна любовь остается жить в сердце, испепеленном ударами судьбы, между истлевшими чувствами и привязанностями, – любовь к родине и к родному народу. Это последнее чувство, никогда не умирающее в сердце каждого человека, достойного этого имени... Священный огонь этого чувства горит в душе человеческой с рождения и до смерти, и загасить его не может ни время, ни воля, ни сила, ни даже... сама смерть...

Голос старика дрогнул. Он умолк, осиленный волнением, и стоял освещенный быстро мигающими молниями, мрачный и могучий, подобно древнему жрецу, перед юными воинами, сердца которых бились быстрее под звуки пламенной речи, исходящей из сердца столетнего храбреца.

Долго длилось молчание, прежде чем Тейя решился его нарушить.

– Ты прав, отец мой... Любовь к родине и родному народу горит не угасая в сердцах, способных стать жертвенным очагом для этого чистого и священного огня. Но все ли братья наши чувствуют то же, что и мы, собравшиеся здесь, вокруг тебя?.. Пройди по селам и городам прекрасной Италии, заменившей готам далекую любимую родину, и приглядишься к братьям нашим. На сотню готов, способных понять тебя, ты найдешь сотни тысяч утративших всякую связь с родиной, отрекшихся от родного народа, гордящихся званием подражателей иноземцев, не способных откликнуться на твой призыв... Что же может сделать чувство немногих в борьбе с равнодушием большинства? Сможем ли мы, патриоты, спасти великую империю Теодорика, когда большинство наших соплеменников позабыли самое слово «патриотизм» и скрывают свое происхождение как позор и бедствие, предпочитая родному народу покоренных чужеземцев, ненавидящих нас и презираемых нами... Увы, патриотизм немногих не спасет империю готов, отец мой...

– Ты ошибаешься, сын мой, – торжественно ответил Гильдебранд. – Люди, одушевленные любовью к родине, могут делать чудеса, как бы малочисленны они ни были... Так было ровно сорок пять лет тому назад, и я сам видел это чудо... В то время мы, готы, спускались с родных гор в заманчивые южные равнины, в поисках земли, славы и добычи. И вот внезапно целое племя, сотни тысяч воинов с женами и детьми, попало в засаду и очутилось в безвыходном положении, – в глубоком горном ущелье, между отвесными скалами, без пищи и питья, и без надежды на спасение, так как враги сторожили все тропинки. Хитрые греки сумели обмануть брата нашего короля и заманить его в засаду, перебили весь отряд, до последнего человека, лишив нас ожидаемых запасов еды. Нам оставалась голодная смерть, либо позорная сдача, в сущности, та же смерть, уничтожение всех способных носить оружие... Мы ведь знали, как ведут войны византийские императоры... Не стану описывать мучения наших братьев. Да таких и слов-то нет... От голода мы ели древесную кору и варили ее для грудных младенцев. Матери потеряли молоко от голода... Многие тысячи наших не выдержали лишений и остались в проклятом ущелье... Стужа, голод и двадцать попыток пробиться сквозь вражеские войска унесли большую половину наших воинов. О женщинах и детях что уж и говорить... Те мерли как мухи... Наступила минута, когда храбрые опустили руки, самые выносливые застонали. Целый народ дошел до отчаяния... И в эту минуту явились посланцы от императора и принесли нам хлеб, мясо, вино и свободу... Да, полную свободу. Безбедную и обеспеченную жизнь для всех, без исключения... Одно лишь условие ставил византийский император: «разделение». Все готы должны быть расселены в обширных римских владениях маленькими партиями, не более двух-трех семейств вместе. И все мы должны были поклясться честью нашей никогда не вступать в брак с единоплеменницами, никогда не говорить на нашем родном языке и не учить ему младенцев наших... Одним словом, мы должны были стать римлянами, и самое воспоминание о германском племени готов должно было исчезнуть... Дрожа от негодования, выслушал король наш постыдное предложение послов и, созвав народ свой, спросил его, что лучше: отказаться ли навеки от родного языка, от далекой родины, от памяти отцов и дедов, или умереть, сражаясь за свободу, и жить и чувствовать, как предки наши... Немного слов сказал король наш, но слова эти, точно меч огненный, прожгли души наши, и все сотни тысяч готов, воинов и стариков, юношей и детей и женщин воспрянули, как один человек, пылая одним одушевлением, и ринулись в проход, охраняемый лучшими войсками императора... Порывом народного негодования смыты были все препятствия, расставленные на пути нашем, и, подобно снежной лавине, скатились мы с голых утесов смерти в плодородные долины Италии, где и остались победителями...

Голос старого воина дрогнул, но глаза его горели юношеским огнем, а седая голова гордо поднялась на могучих плечах. Отблеск великих воспоминаний освещал его суровые черты, когда он снова заговорил, положив руку на плечо ближайшего слушателя.

– И теперь может спасти нас только одушевление народное. Только подъем того таинственного чувства, которому имя «патриотизм», вершит чудеса. Для нас, ушедших из родины отцов и дедов, чувство это сохранилось в кровной связи одного племени, в правах и обычаях, в вере, сказаниях и преданиях, и прежде и больше всего – в родном языке, в нашем звучном, любимом германском наречии... Когда проснется древняя родовая гордость в душе народа нашего, тогда каждый из братьев наших почувствует всем существом своим кровную связь со всеми остальными готами, когда сердца миллионов забудутся, как одно, тогда не одолеть нас никакой силе, не уловить никаким хитросплетением... И вы, избранные мною, лучшие сыновья народа моего, если вы сознаете справедливость моих слов, если вам дороже всего на свете слава и благополучие родного народа, если вы готовы пожертвовать для него всем, не исключая жизни, то мы будем непобедимы... Но поняли ли вы меня? Осмелитесь ли со спокойным сердцем произнести страшную клятву?

– Да... – в один голос ответили все четверо. – Да, мы можем поклясться, отец наш.

– В таком случае царство готов спасено, потому что достаточно пяти убежденных смельчаков, чтобы раздуть огонь одушевления, тлеющий в сердцах народных. Когда же весь народ наш охвачен будет священным пламенем патриотизма, тогда не страшны ему никакие враги. Но, к сожалению, до этого еще далеко... Много, слишком много готов прельстились иноземными обычаями, забыли о родине и ее законах, о нравах и обычаях предков наших, о старых песнях и преданиях германских... Увы, многих ослепила лжецивилизация иноплеменников. Эти заблудшие германские души стыдятся своего происхождения, стыдятся названия «варвар», которое придумано иноплеменниками, завидующими молодой силе готов... Горе заблудшим потомкам славных германцев. Они погибнут и погубят родину и родной народ. Тщетна и несбыточна их мечта стать римлянами и заставить иноплеменников забыть об их происхождении. Чужую кровь не скроешь, чужой кожи не наденешь, как платья иноземного модного покроя... Горе отступникам, изменяющим своей родине и своему народу... Они глупцы и предатели... Они останутся без родины, чуждые своим и чужие иноплеменникам. Они подобны человеку, который желал бы жить, вырвав сердце из своей груди. Нельзя выпустить свою кровь из жил и заменить ее другой. А без этого нельзя стать своим среди них. Отступники – те же листья, оторванные бурей от веток старого дуба и мнящие себя живыми соперниками могучего дерева. Но пройдут немногие часы, и солнце сожжет отлетевшие листья, и рассыплются они прахом... Обнаженные же ветви старого дуба покроются новой зеленью и будут гордо красоваться долгие века, защищая от непогоды все, что укрывается под ними, что остается верным... Вот что надо объяснить родному народу, дети мои. Будите любовь к родине, будите патриотизм в сердцах готских. Рассказывайте детям о славных победах предков наших и остерегайте отцов семейств от надвигающейся опасности иноземного поглощения. Учите сестер ваших беречь сердца свои от лживых иноземцев, презирающих дочерей варваров, даже когда они сжимают их в своих объятьях. Просите матерей пожалеть детей своих, которым грозит рабство духовное от иноплеменников, задумавших истребить все, чем жив был славный народ готов, все то, что ему было дорого и свято... И когда все готы поймут истину слов ваших, то не страшны будут римские императоры ни вам, ни детям вашим. Непобедим и непоколебим останется народ готов посреди иноплеменников, подобно гранитной скале посреди бушующих волн, омывающих ее подножье... Готовы ли вы помогать мне, готовы ли потрудиться для достижения этой великой и священной цели? Отвечайте, дети мои.

– Да, мы готовы, – снова произнесло четыре голоса сразу, без малейшего колебания.

– Я верю вам, дети мои. Верю слову вашему так же, как самой священной клятве. Но уважая древние обычаи, я все же прошу вас подтвердить клятвой священный союз наш, союз народной обороны, начало которому положено в этот час, на этом месте... Следуйте за мной...

II

Величественным жестом поднял старый Гильдебранд факел над своей головой, свободной рукой приглашая своих молодых собеседников следовать за собой.

Безмолвно прошла маленькая группа всю длину разрушенного храма, мимо длинного ряда постаментов, лишенных статуй, мимо полубовалившегося главного жертвенника, вплоть до внутреннего двора святилища, и дальше, через обломки древней ограды, вплоть до громадного развесистого дуба, последнего представителя священной рощи, когда-то украшавшей склоны этого холма. Отсюда открывался величественный вид на спящий у подножья его город Равенну, на поля и леса, окутанные ночной мглой.

У подножья могучего лесного великана германские воины увидели нечто, сразу напомнившее им седую старину и предания далекой туманной родины. Дрожь суеверного почтения пробежала по телу молодых воинов и наполнила душу их смутным трепетом.

Под сенью широко раскинутых ветвей, не пропускающих ни капли дождя на стоявших под ними, земля была вырезана на протяжении нескольких аршин. Зеленый дерн, словно узкий ремень, был приподнят на трех копьях таким образом, что в образованном треугольнике, по обе стороны от среднего, самого длинного копья, могли спокойно стоять несколько человек. Тут же, на обнаженной полосе черной земли, стоял железный котел, наполненный водой, и рядом с ним лежал длинный, острый нож старинной формы, какие употреблялись германскими языческими жрецами, с рукояткой из турьего рога и с лезвием из острого отточенного кремня.

Старый оруженосец Теодорика воткнул длинную рукоятку факела в землю возле котла с водой и вступил правой ногой вперед в узкую рытвину, приглашая взглядом своих спутников последовать его примеру.

Молча повиновались ему молодые люди, и через минуту все пятеро стояли под приподнятой полосой дерна, составив цепь из своих соединенных рук. С минуту продолжалось торжественное молчание, только губы старика беззвучно шевелились, как бы произнося мысленные заклинания.

Затем он выпустил руки Витихиса и Хильдебада, стоявших слева и справа от него, и опустился на колени. Подняв правой рукой горсть черной земли, он бросил ее назад через свое левое плечо. Затем, левой рукой зачерпнув воды из котла, он так же звучно выплеснул ее через правое плечо. Он повернул голову по направлению ветра, трепавшего его длинную седую бороду, как бы призывая бурю в свидетели того, что должно было произойти, и, наконец, высоко подняв факел над головой, поводит им справа налево, и снова воткнул его в землю.

Только теперь разжались губы старика, и быстрым, неудержимым потоком полилось из его уст древнее заклинание.

– Услышь меня, мать-сыра земля, воды вешние, ветры буйные, огонь-пламя горячее, да будет слово мое крепко... У зеленого дуба, в чужой стране, собрались пять витязей племени германского. Я, Гильдебранд, сын Хильдунга, Тотилла и Хильдебад, братья единоутробные, Витихис, сын Вальтари, Тейя, певец славы народной... То воины готские, сошлись мы темной ночью для союза кровного, неразрывного по самую смерть. Да будем мы братьями названными, все вместе и каждый порознь, в сладком мире и лютой войне, в ночь мести кровавой, в день радости светлой иль лютого горя. Да будет для всех нас едина надежда, едина любовь и едина вражда. На жизнь и на смерть нас свяжет сегодня неразрывной связью кровь.

Окончив заклинание, старик обнажил левую руку, и жест этот повторили все остальные.

Тогда Гильдебранд поднял правой рукой жертвенный нож и быстрым движением разрезал кожу на протянутых над котлом руках своих товарищей, так же, как и на своей левой руке. Алая кровь закапала в воду, правые же руки сплелись в одну цепь, а старик снова заговорил громче и торжественнее прежнего.

– Клятву приносим мы ненарушимую: отдать все, что имеем, забыть все, что мы любим или что ненавидим, для блага родного народа. Не будет нам дорог ни дом, ни жена, ни конь быстроногий, ни девица-красавица, ни малые дети, ни жизнь молодая, ни слава ратная, ни честь великая, ни мать-старуха, ни сын-первенец, ни распря с врагом, ни спасение друга... От всего отрекаюсь и все отдаю я. И тело и душу готов принести я в жертву на благо отчизны, для счастья народного... А кто позабудет ту страшную клятву...

При этих словах старик вышел из рытвины, и за ним последовали его товарищи, оставаясь возле приподнятой полосы дерна.

– ...Кто изменит родному народу, тот сгинет без чести, без мести, без слез... И кровь его пусть прольется бесславно, подобно воде, поглощенной бесшумной травой.

Резким движением выплеснул Гильдебранд окрашенную кровью воду, а затем вынул из рытвины котел, нож и факел.

– Да покроет предателя черным покровом мать-сыра земля, и не будет ему в могиле покоя. Его память угаснет навеки под гнетом стыда, что придавит его под землей.

Одним ударом меча старик подрезал все три копыя, поддерживающих полосу дерна, которая с глухим шумом упала на прежнее место. Тогда кровные братья стали на эту полосу, а старик продолжал быстрее выговаривать древние заклинания, торжественно звучащие в сердцах молодых людей.

– Горе лютое ждет того, кто позабудет про клятву, кто кровного брата родным не признает, кто от жертвы для блага отчизны откажется ради чего-либо... Такого изменника ждет вечная тьма, ждут черные силы под черной землей. Могила изменника проклятою будет, а имя его станет словом позорным повсюду, где звучит колокол церкви христианской, где язычники жертвы приносят Богам, где матери любят детей своих кровных, где ветер несетя, бушуя над землей и водой... Согласны ли вы, братья, на такое условие?

– Согласны... – торжественно отвечали четыре молодых голоса. Руки кровных братьев расплелись, а старый воин произнес:

– Благодарю вас, братья, от имени родного народа... А теперь узнайте, почему я привел вас именно сюда, почему выбрал это место для великой клятвы. Идите за мной...

Снова взяв факел, могучий старик молча обошел вокруг дуба и остановился у глубокой могилы, с которой его сильные руки сдвинули тяжелый камень. Коллеблющееся пламя факела осветило красным блеском три длинных белых скелета, окруженных обломками оружия.

– Здесь лежат мои сыновья... Все трое легли здесь в один день тридцать пять лет назад, во время последнего штурма Равенны. Они были молоды, сильны счастливы и любимы, и все же они не колеблясь пошли на смерть. Счастливые и гордые, они отдали свои юные жизни за родного монарха, за родной народ... Я же остался с тремя трупами и все же живу и останусь жить, пока могу быть полезным родине... Помните героев, братья мои, и помолитесь, кто как умеет...

Он замолчал и склонил седую голову на грудь. Его молодые товарищи с почтением глядели на открытую могилу и на склоненную голову седого воина. Ни один не решился выговорить слова утешения осиротелому старцу, с таким величественным спокойствием сносящему свое одиночество. Но в сердцах их звучали слова клятвы: «Все за родину... Все для родного народа...»

Через минуту старый Гильдебранд поднял глаза к небу.

– Звезды меркнут, близится рассвет... Пора по домам, братья. Вашей молодости нужен сон. Только старость да горе в отдыхе не нуждаются. Потому и прошу тебя, Тейя, остаться со мной. Тебе дан дар песни. Помоги мне почтить день кончины моих сыновей.

Тейя молча кивнул головой и медленно опустился на землю у изножья открытой могилы. Гильдебранд передал Витихису факел, и затем так же молча прислонился к скале, напротив черноглазого воина. Темная глубь могилы зияла между ними.

Когда уходящие обернулись, старец и Тейя уже слились с темной тенью ночи.

III

В то самое время, как в Равенне образовывался союз кровных братьев, поклявшихся отдать жизнь для спасения готов, в Риме происходило тайное собрание людей, задавшихся противоположной целью.

На одной из роскошных улиц Вечного города находится вход в таинственные катакомбы, образующие столь же огромный город под землей. Улицы и переулочки этого подземного города, не раз уже служившие местом спасения преследуемых христиан, настолько перепутаны, их входы так искусно скрыты, что только опытные проводники отваживаются ходить по этому мрачному лабиринту. Люди, не знакомые с бесчисленными извилинами подземных галерей, обречены погибнуть от голода и усталости в бесплодных поисках выхода.

Но посетители, собиравшиеся в усыпальнице христианских мучеников, не боялись ничего подобного. Архидьякон католического собора Св. Себастьяна встретил своих друзей у дверей склепов и проводил их мимо гробниц епископов к потайной двери, соединяющей нижний этаж храма с катакомбами, хорошо известными христианским священникам, постоянно служившим панихиды на гробницах первых мучеников христианства. Присутствующие, очевидно, не в первый раз спускались в это опасное место. Мрачное величие катакомб не производило на них никакого впечатления. Равнодушно прислонились новоприбывшие к сырым стенам полукруглого подземного зала, которым заканчивалась полуразвалившаяся узкая галерея. Не раз ноги медленно подвигающихся спотыкались в темноте о какой-нибудь полуистлевший череп. Но эта реликвия презрительно отпихивалась в сторону, не вызывая обычного благоговения в этих посетителях. Их было немного: дюжина католических священников да десятка три знатных римлян, равнодушно следящих за движениями архидьякона Сильверия. Тот осторожно оглядел входы темных галерей, которые примыкали к этой, полусвещенной бронзовой лампой зале. В глубине каждой из боковых галерей виднелись фигуры низших послушников, оберегающих собрание от появления нежелательных гостей.

Убедившись в полной безопасности, так же, как и в отсутствии лиц не приглашенных, архидьякон Св. Себастьяна обернулся к закутанному в темный плащ мужчине, с которым уже не раз обменивался взглядами, и вопросительно взглянул на него, как бы спрашивая разрешения открыть собрание. Получив в ответ едва заметный наклон головы, Сильверий обернулся к собранию и заговорил мягким и вкрадчивым голосом:

– Возлюбленные братья во Христе... Приветствую вас во имя Отца и Сына и Святого Духа, Троицы единосущной и животворящей... Вновь, не в первый раз, собрались мы для братского совещания, но никогда еще мы не переживали столь тяжелой минуты. Настало трудное время для католического мира. Меч нового Навуходоносора, еретика арианца, занесен над православными христианами, и враги святой церкви нашей собираются погубить верных детей ее. Но да не устрасит сердце наше, да не затрепещет перед врагом, могущим погубить тело, но не душу бессмертную... Страшен лишь тот враг, который может лишить нас вечного блаженства «на небеси», обещанного верным слугам Христа... Вы знаете, братья мои, что не за жизненные блага боремся мы, а за церковь Христову, и надежду нашу полагаем мы на Господа, который манной небесной питал израильтян в пустыне и указывал им путь столпом огненным в темные ночи великого странствования... Восхвалим же Всевышнего, явившего нам чудодетственную помощь. Робки и малочисленны были мы, начиная наше святое дело. Давно ли со страхом собирались немногие верные сыны церкви католической в этих подземельях, освященных могилами святых мучеников. Но Господь явил силу свою и возросло число наше... Лучшие сыновья Древнего Рима присоединились к нам. Тяжелые времена переживали мы под мечом еретика-завоевателя. Но Бог помог нам, и ныне можем мы открыто провозгласить, что власть иноземного варвара колеблется, что владычеству тирана наступает конец...

Цветистую речь неожиданно перебил стройный черноглазый юноша. Нетерпеливо перекинув на плечо конец своего плаща, он крикнул звучным и смелым голосом человека, привыкшего повелевать сотнями невольников и клиентов.

– К делу, священник, к делу... Говори просто и толково, зачем собрал ты нас и что намерен предпринять сегодня?

Архидьякон Сильверий смерил недовольным взглядом не в меру самостоятельного юношу, но голос его звучал так же мягко и сладко, когда он обратился к нему с ласковым упреком.

– Возлюбленному сыну моему Люцинию, не верящему в священные цели нашего союза, все же не следовало бы разрушать эту спасительную веру в душах остальных членов нашего собрания. Но чтобы успокоить твое юное нетерпение, я готов сообщить без дальнейших промедлений о вступлении в наш союз нового члена, участие которого в нашем святом деле является видимым знаком милости Божьей, помогающей нашему бескорыстью.

– Исполнены ли обычные условия приема? Отвечаешь ли ты сам за нового сочлена, или же другой кто? – спокойно и уверенно спросил другой римлянин, усевшийся на обломке скалы, опираясь руками на толстую палку.

Сильверий нахмурил свои тонкие брови, но голос его стал еще слаще и мягче.

– Да, я отвечаю за нашего нового брата, друг Сцевола, хотя личность его говорит сама за себя.

– До его личности мне дела нет, – с тем же невозмутимым спокойствием ответил Сцевола. – Устав нашего союза требует поручителя для каждого нового члена, и я настаиваю на выполнении устава.

– Будь по-твоему, непреклонный законник. Ты можешь записать меня поручителем за нашего нового брата, – снисходительно улыбаясь, вымолвил архидьякон, и, повернувшись к одной из боковых галерей, сделал знак двум юношам, в платье церковных служителей, которые немедленно вывели на середину полукруглой залы высокого, слегка сгорбленного мужчину, лицо которого скрывалось под наброшенным на голову плащом.

Медленно и торжественно откинул Сильверий плащ с лица незнакомца.

Взоры присутствующих впились в бледное, испуганное лицо, и шумные возгласы раздались отовсюду.

– Альбинус... Альбинус... – повторяли десятки голосов, негодующих или просто удивленных.

Люциний схватился за меч, а Сцевола поднялся со своего места.

– Изменник и предатель среди нас, – с негодованием произнес он. – Что это значит, Сильверий?..

Дрожа всем телом, стоял вновь вошедший посреди негодующих заговорщиков. На его неправильном зеленовато-бледном лице ясно написаны были страх и стыд, и полные слез глаза неотступно следили за каждым движением архидьякона, как бы умоляя его о защите.

Один Сильверий оставался спокоен.

– Да, это Альбинус, – произнес он, не возвышая голоса. – Если кто-либо из присутствующих имеет что-то против него, пусть выйдет вперед и объявит об этом во всеуслышанье.

– К чему тут длинные речи, – задыхаясь от гнева, крикнул Люциний. – Кто же из нас не знает, что Альбинус предал братьев наших, Симаха и Боэция. Они погибли по вине этого подлого изменника...

– Ругательства и крики ничего не доказывают, друг мой, – спокойно произнес Сцевола. – Мы все люди, и потому можем ошибаться. Вот я спрашиваю у самого Альбинуса: виновен ли он в гибели двух лучших римских граждан? В то время наш союз только что зарождался. Каким образом проведаль о его целях наш тиран, не знаю. Да это и безразлично. Важно то, что Боэций и Симах смело и стойко защищали тебя от подозрения, грозившего смертью одному

тебе. Ты же предал и выдал их, спасая себя, и купил прощение Теодорика позорной клятвой полного подчинения варварам. Твои великодушные защитники были казнены, а их имущество конфисковано. Ты же бежал, спасая свою жалкую жизнь и свое богатство... Правда ли это, Альбинус?

Ропот негодования пронесся по рядам союзников. Дрожащий и растерянный Альбинус низко склонил голову под тяжестью страшного обвинения, и даже сам архидьякон растерялся.

Но в эту минуту от стены отделилась молчаливая фигура, с которой Сильверий обменивался взглядами перед началом заседания, и этого молчаливого движения было достаточно для того, чтобы вернуть архидьякону его спокойствие и самоуверенность.

Подняв глаза к небу, он проговорил ележным голосом духовного оратора:

– Возлюбленные братья во Христе, выслушайте меня спокойно, в память Господа, сказавшего: «Мне отмщение же Аз воздам»... Все, в чем вы обвиняете несчастного брата нашего, действительно совершилось, но далеко не так, как вы думаете. Альбинус не виновен в потере, постигшей нас, ибо он поступил согласно моему совету...

– По твоему совету, Сильверий?.. – медленно повторил Сцевола. – Что это значит?.. Как смеешь ты признаваться в этом изменническом поступке?

– Да, да... – сверкая глазами, вскрикнул Люциний.

Архидьякон спокойно поднял голову.

– Не судите, да не судимы будете, – наставительно произнес он. – Узнайте подробности злополучного события, и вы поймете все и оправдаете меня и Альбинуса... В то время он был главой нашего союза. В его руках сосредоточены были важнейшие бумаги, могущие погубить не только всех сочувствующих нам, но и самое дело наше. На него донес тирану озлобленный невольник, сумевший разобрать условные знаки в письмах, которыми мы обменивались с Византией. Однако, несмотря на этот донос, тиран не знал больше ничего. Теодорик только подозревал многих, и в том числе Боэция и Симаха. Сопротивляться было невозможно. Признать существование заговора, значило отказаться навсегда от нашей цели. Необходимо было прежде всего уничтожить подозрения тирана. К несчастью, смелые друзья наши не поняли необходимости смириться, дабы скрыть единодушие всего римского дворянства. Их мужественная откровенность была опаснейшей политической ошибкой, и они первые поплатились за эту ошибку. По счастью, Господь помог нам... Предатель-невольник внезапно умер, едва успев исповедаться и приобщиться... Я сам принес ему последнее духовное утешение в темницу, где он был заключен вблизи от преданного им господина своего. Его скоропостижная смерть помешала назвать имена остальных союзников. Письма же, перехваченные врагами, нам удалось вернуть благодаря благочестивым женским рукам. Таким образом были уничтожены доказательства вины всех остальных членов нашего союза. К несчастью, Боэций и Симах слишком скоро и слишком гордо сознались в ненависти к варварам и в намерении свергнуть их владычество. Это признание оказалось опасней, чем предательство невольника Альбинуса. Но и для Альбинуса опасность не была устранена смертью изменника-раба. Уже схваченный тираном, Альбинус ждал пыток и казни. Смог ли бы он устоять под пыткой и не выдать имен союзников, известных ему?.. Конечно, нет. Я знал это, да и он сам сознавал свою слабость. Необходимо было спасти его, что и было достигнуто просьбой о помиловании и клятвой полного подчинения... К сожалению, пока мы хлопотали о спасении Альбинуса, Боэций и Симах были казнены. Но в их стойкости мы были уверены. Никакая пытка не могла бы сломить их железную волю и сделать предателями этих героев. Альбинус же был спасен из заточения, подобно святому Петру. Прошел слух о его бегстве в Грецию, и тиран удовлетворился его добровольным изгнанием. Но Господь повелел нам скрывать мнимого беглеца в церковном подземельи, впредь до дня освобождения. В своем печальном уединении наш бедный брат раскаялся в греховой слабости и решил искупить ее, завещав свое громадное состояние Матери-церкви, на дела христианского милосердия. Теперь он перед вами... Он просит пощады и прощения,

просит принять его обратно в число союзников. Неужели вы оттолкнете раскаявшегося брата и откажетесь от его миллионов?

Архидьякон умолк. Наступило гробовое молчание. Присутствующие были так поражены неожиданным сообщением Сильверия, что не сразу нашли ответ. Только через две-три минуты Люциний произнес насмешливо:

– Ты очень умен, Сильверий... Так умен, что я затрудняюсь подыскать сравнение. Если бы ты не носил одежды служителя церкви Христовой, я бы сказал, что ты умен, как бес. Теперь же напомню тебе слова Спасителя: «блаженны нищие духом...»

Как бы пробудившись от сна, Сцевола заговорил в свою очередь.

– Если церковь желает принять миллионы предателя, то это ее дело. Я же был другом убитых и не хочу встречаться с человеком, бывшим причиной их смерти. Среди нас и не должно быть места изменникам. Никогда не признаю я братом Альбинуса...

– Никогда... Ни за что... Не признаем... Не хотим... Долой предателей... – раздались негодующие голоса, и с разных сторон протянулись угрожающие руки к бледному и дрожащему миллионеру.

Вторично растерялся Сильверий при этом взрыве негодования. Умоляюще взглянул он в сторону незнакомца, все еще закутанного плащом.

– Как быть, Цетегус? – прошептал он едва слышно.

Как бы в ответ на эти слова выступил вперед высокий, худощавый римлянин, не проронивший до этого ни единого слова, внимательно наблюдая за лицами и речами присутствующих. Он откинул плащ, и все увидели человека средних лет, прекрасно сложенного, с могучей грудью и стальными мускулами, отчетливо видневшимися под тонкой смуглой кожей. Под плащом оказалась белая одежда с пурпурной каймой, знаком сенаторского достоинства. Тонкая и изящная обувь говорила о вкусе и богатстве. Лицо этого человека принадлежало к числу тех, которые не забываются. Красивые и строгие черты напоминали классически правильный профиль статуй древних римских героев. Над высоким выпуклым лбом кудрявились черные, коротко остриженные волосы. Глубоко впалые серые глаза блестели каким-то особенным блеском, ежеминутно меняя цвет и выражение. В этих чуть-чуть суженных глазах искрилось и сверкало целое море огня, сдерживаемого железной волей. Никакая страсть, казалось, не смогла бы нарушить непоколебимое хладнокровие этого человека.

Слегка выдающийся подбородок, гладко выбритый, говорил о непобедимом упрямстве и могучей энергии. На тонких ярко-красных губах красиво очерченного рта змеилась насмешливая полуулыбка, в которой ясно читалось пренебрежение, почти презрение, не только ко всему земному миру, но, пожалуй, и к предвечному Создателю его.

Едва Цетегус выступил вперед, едва его горящие глаза обвели полутемный зал, как каждый, на ком он останавливал свой взгляд, почувствовал полную невозможность не подчиниться ему без всяких рассуждений.

– О чем вы спорите, друзья мои? – холодно и спокойно произнес Цетегус. – С необходимостью не торгуются. Желаящий достичь цели не должен задумываться над средствами. Вы не можете простить слабодушному изменнику. Охотно верю... Я сам не прощаю его... Но забыть его слабодушие мы должны именно потому, что мы были друзьями казненных. Они мне не менее дороги, чем вам, но только тот достоин называться другом убитых, кто сумеет отомстить за их безвременную смерть. Для этого же мы должны уметь забывать многое... Твою руку, Альбинус...

Все молчали, побежденные обаянием личности говорившего более, чем его словами. Один Сцевола холодно проговорил:

– Рустициана, вдова Боэция и дочь Симаха, тайно помогает нашему союзу. Не оскорбится ли она, узнав о присутствии между нами убийцы ее отца и мужа? Сможет ли она забыть измену Альбинуса?

– Подождите минуту... Поверьте не мне и не моим словам, а собственным глазам, друзья мои...

Быстрым шагом направился Цетегус к ближайшей боковой галерее, где в темноте встретила его закутанная женская фигура.

– Пора... – прошептал он, схватив протянутую ему навстречу холодную и дрожащую женскую руку и крепко сжав ее. – Иди за мной.

Темная фигура отшатнулась, и женский голос, немного хриплый от волнения, чуть слышно проговорил:

– Не могу... Не могу и не хочу... Не хочу видеть предателя. Будь он проклят, изменник... Я не хочу и не могу взглянуть в его гнусное лицо...

– Ты можешь и захочешь, потому что я хочу... – опять прошептал он, слегка сдвигая свои черные брови. Огненный взгляд его скользнул по густому покрывалу и остановился на лице женщины. И под огнем этого взгляда она поникла и безропотно двинулась вслед, увлекаемая сильной мужской рукой.

– Рустициана... – вскрикнули собравшиеся заговорщики при виде прекрасного бледного лица, с которого Цетегус откинул тяжелое вдовье покрывало.

– Женщина в нашем собрании?.. Это необычное нарушение устава нашего содружества, – все так же спокойно произнес Сцевола.

– Да, Сцевола... не забудь, что устав создан для блага союза, а не союз существует ради устава, и что бывают случаи, когда нарушение устава спасает целый союз. Никто из вас не поверил бы моим словам. Тому же, что все сейчас увидят, поверить придется. Протяни руку Альбинусу, Рустициана... А ты, Альбинус, успокойся. Вдова Боеция и дочь Симаха прощает тебя... Кто осмелится теперь еще не последовать ее примеру?

Рука Альбинуса дрожала в холодной руке тяжело дышавшей женщины. Грудь Рустицианы прерывисто подымалась, и нервная судорога пробегала по ее лицу. Однако она молчала и послушно протянула руку убийце своих близких.

Цетегус, по-видимому, удовольствовался этим молчаливым согласием. Не требуя ничего больше, он отошел в сторону, вместе с приведенной им женщиной, как бы потеряв весь интерес к тому, что будет происходить дальше.

Архидьякон проговорил торжественно:

– Итак, с согласия присутствующих братьев, я объявляю Альбинуса членом нашего союза.

– Но ведь он клялся в верности победителю... Клялся на кресте и Евангелии, – снова заметил неумолимый юрист Сцевола.

– Клятва, принесенная по принуждению, никого не связывает, – поспешно перебил его Сильверий. – Такая клятва Господу не угодна и святая церковь может освободить от нее Альбинуса... А за сим, пора заняться текущими делами... Наши друзья доставили нам важные документы. Передаю тебе, Люциний, план укрепления Неаполя. Копия с него должна быть готова не позже завтрашнего вечера для отправки к Велизарию... Для тебя, Сцевола, вот письмо от благоверной супруги императора Юстиниана. Ты знаешь, кому надо ответить: императрице Феодоре... Тебе, Кальпурний, передаю вексель Альбинуса на полмиллиона сестерций. Перешли его известными тебе путями во Францию, доверенному мажордому короля Меровингов. Он обещал восстановить своего слабовольного монарха против его дяди Теодорика и вообще против всех готов... Ты же, Помпоний, пожалуйста, просмотри поскорее вот этот новый список далматинских патриотов, ненавидящих завоевателей. Ты долго прожил в этой провинции и знаком с ее нравами и с ее гражданами. Сообщи нам, нет ли среди этих имен кого-либо из аристократии, родовой, денежной или чиновной – безразлично... Всем же вам, друзья мои, могу сообщить отрадную весть. По последним данным из Равенны, наш тиран снедаем какой-то таинственной болезнью, душевной более, чем телесной. Мрачная меланхолия подрывает

его силы. Очевидно, раскаянье завладело его закоренелой в грехах душой. Оно гонит его в могилу... Слишком поздно понял еретик свою преступность. Утешения же святой Католической церкви не доступны арианцу... Поэтому, очевидно, уже не долго ждать Судного дня. Меч Господен уже занесен над грешной головой Теодорика, и день его падения уже назначен Всемогущим... Ждите же терпеливо, друзья мои. Близится день возмездия, день освобождения Италии, день возвышения для Вечного Рима... Когда мы соберемся в следующее полнолуние, как знать, не наступит ли уже желанный день освобождения... А до тех пор благословение Всевышнего да будет над всеми вами, братья союзники...

– И со духом твоим, брат Сильверий, – тихо ответили уходящие, разбиваясь на группы, которые спешно стали удаляться в разные стороны, ведомые церковными служителями, в длинных черных одеяниях, с факелами в руках.

IV

Сильверий, Цетегус и Рустициана поднялись по узкой каменной лестнице, ведущей внутрь обширных склепов, над которыми гордо возвышался величественный храм Св. Себастьяна. Затем они молча прошли всю длину неосвященного собора и, наконец, добрались до узкой железной двери, соединяющей храм с соседним домом, жилищем архидьякона.

Войдя в дом, Сильверий на минуту остановился и прислушался. Но все двери, ведущие из прихожей в соседние комнаты, были заперты, а глубокая тишина доказывала, что все обитатели крепко спали. Единственное исключение составлял доверенный невольник, дожидавшийся своего господина возле маленькой догоравшей лампы. Молча кивнул старому слуге архидьякон и указал рукой на одну из мраморных плит пола. Старый невольник поспешно наклонился, надавил какую-то неведомую пружину, и тяжелая плита беззвучно приподнялась на тщательно смазанных петлях, открывая узкую витую лестницу, ведущую вниз в небольшую комнату, в которую хозяин дома и пригласил своих спутников. Так же бесшумно опустилась мраморная плита за ними, не оставив ни малейшего следа.

Цетегус присел на низенькое золоченое кресло, равнодушно оглядывая подземное убежище, служившее когда-то местом интимных пиров Горация, ныне же ставшее тайным убежищем католического священника. Пока избалованный взгляд знатока и любителя искусств с удивлением остановился на прекрасной мозаике, украшавшей мраморные стены нескромными картинами, хозяин дома приготавливал угощение для своих гостей, разливая душистое янтарное вино из высоких серебряных амфор в небольшие драгоценные кубки и придвигая к Рустициане маленький бронзовый столик с золоченой корзинкой, наполненной фруктами и сладким печеньем.

Вдова Боэция, казалось, даже не заметила любезного приглашения архидьякона. Неподвижно стоя перед своим спутником, она внимательным взглядом впиалась в строгое и красивое лицо римлянина.

Почти сорокалетняя матрона все еще была прекрасна, несмотря на серебряные нити, сверкающие в темнокаштановых локонах, обрамляющих ее высокий, снежно-белый лоб. Большие, черные глаза Рустицианы сохранили блеск и живость молодости, хотя чуть-чуть покрасневшие веки выдавали бесконечные горькие слезы, пролитые гордой римлянкой. Прекрасен был и маленький, энергично очерченный ротик, и только глубокие складки в углах пурпурных губ немного старили нежное женское лицо, строгая красота и правильность которого вполне отвечали гордой грации высокой, стройной фигуры, обрисовавшейся под грубым, темным плащом.

Опершись рукой о столик, Рустициана выговорила, как бы просыпаясь от глубокого сна:

– Скажи мне, Цетегус... скажи правду... Объясни мне, почему я повинуюсь тебе...

Теперь, как и прежде... Ведь я не люблю тебя больше. О, нет... Моя любовь к тебе давно уже стала ненавистью. Не возражай... Я говорю правду, и ты это знаешь. Да, я ненавижу тебя, Цетегус, за все то, что ты заставил меня сделать когда-то... Откуда у тебя власть надо мной? Как мог ты заставить меня протянуть руку, – вот эту самую руку, – презренному предателю, погубившему отца и мужа?

Цетегус равнодушно пожал плечами, отвечая:

– Сила привычки, Рустициана...

– Привычки? – повторила матрона. – Да, пожалуй, ты прав, Цетегус. Привычка сделала меня твоей рабыней. Давнишняя, долголетняя привычка... Ребенком повиновалась я красавцу-отроку, уверявшему дочь своего соседа в любви. Это было естественно тогда... Могла ли десятилетняя девочка понять тебя, демона с огненными глазами и ледяным сердцем... Могла ли я, пятнадцатилетняя девочка, знать, что юноша, обнимающий ее так страстно, недоступен

страсти, что сердце, бившееся на моей груди, не может любить никого и ничего... Ни даже самого себя... Увы, все это поняла слишком поздно супруга несчастного Боэция, которую ты заставил забыть и долг, и честь, и женскую стыдливость... Победа далась тебе легко... Ты имел право презирать женщину, забывшую и простившую измену, погубившую ее первые девичьи грезы, и вторично ставшую твоей рабыней... Но ведь все это прошло. Давно уже угас огонь страсти в моей крови, а страдавшееся сердце умерло для земной любви. Святая церковь простила раскаявшейся грешнице нарушение супружеского долга... Что же заставляет меня все еще повиноваться тебе, повиноваться безмолвно, как бывало прежде? Объясни мне эту страшную загадку.

Сильверий, казалось, не замечал все возрастающего волнения своей гостью, что не помешало ему украдкой повернуть голову в сторону Цетегуса, с любопытством ожидая его ответа. Нервное возбуждение вдовы Боэция начинало не на шутку беспокоить хитрого архидьякона.

Но красивый римлянин все так же равнодушно откинулся на спинку своего кресла, и, подняв правой рукой хрустальный кубок с вином, спокойно проговорил:

– Ты нелогична, как все женщины, Рустициана, смешивая сладкую забаву Амура с мрачным делом Немезиды... Ты знаешь, что я был другом твоего мужа, несмотря на то, что целовал его жену... Быть может, именно поэтому... Я не вижу ничего преступного в разделении женской ласки. Ты же... Впрочем, ты прощена церковью, и это должно успокоить тебя, Рустициана... И потом ты знаешь, что я ненавижу готов и их тщеславного короля, осмелившегося присвоить себе титул западноримского императора. Ты знаешь, что моя ненависть неугасима, и веришь, что я хочу и могу отомстить убийцам твоего отца и мужа. Первого ты любила, второго уважала, несмотря на то, что отдавала мне свои ласки... Быть может, именно поэтому... Теперь ты охотно следуешь моим советам и указаниям, и хорошо делаешь... Ты умна и ловка и обладаешь, как многие женщины, недюжинным талантом для интриг. Но твоя горячность не раз уже вредила тебе, заставляла ошибаться в выборе орудий и разрушая твои лучшие планы. Зная это, ты повинуюешься моему холодному и спокойному рассудку, и, наверное, хорошо делаешь... Все это вполне естественно и логично... А теперь пора домой, Рустициана... Мы и так замешкались. Твои невольники ожидают у дверей храма конца твоей исповеди, которая не может продолжаться целую ночь. Иди домой и передай мой привет прекрасной Камилле, твоей дочери... Покойной ночи, Рустициана.

Все с той же равнодушной любезностью, с которой провожают хорошую знакомую, Цетегус поцеловал холодную руку вдовы Боэция, руку, которую Рустициана как бы позабыла вынуть из его руки, и проводил ее до потайной лестницы, предупредительно открытой архидьяконом.

На пороге Рустициана еще раз смерила высокую мужскую фигуру сверкающим взглядом, полным самых противоречивых чувств, и затем, молча покачав головой, опустила темное покрывало и скрылась.

Цетегус вернулся на свое место и не спеша допил чашу с искрящимся вином.

– Странная борьба происходит в душе этой женщины, – качая головой, произнес архидьякон.

Он вынул из стенного шкафа свиток пергамента, восковую дощечку, грифель и другие принадлежности письма, и, положив все это на придвинутый стол, стал рядом со своим молчаливым гостем.

Цетегус пожал плечами.

– Я не вижу ничего особенного в чувствах Рустицианы. Она хочет отомстить за своего мужа, надеясь таким образом загладить свою вину перед ним. В том, что бывший сообщник ее неверности помогает ее мести, делает исполнение этого долга особенно для нее заманчивым. Таково объяснение чувств и колебаний Рустицианы, конечно, инстинктивных и бессознательных... Но оставим этот мало интересный предмет... Скажи мне лучше, что нового, Сильверий?

Сообщники принялись обсуждать то, о чем нельзя было говорить при других заговорщиках.

– Прежде всего надо упрочить владение миллионами Альбинуса и решить, как их использовать. Ты знаешь, как нам нужны деньги.

– Денежные вопросы твое дело, Сильверий, – холодно ответил Цетегус. – Я мог, конечно, заниматься финансами, если бы это было не так скучно. Тебя же золото интересует, и поэтому я не хочу мешаться в твои распоряжения и знать твои планы.

Сильверий улыбнулся в знак согласия и признательности и продолжал докладывать.

– Ты помнишь, конечно, что нами решено было завладеть умами некоторых влиятельных лиц в Неаполе. Вот список имен. Возле каждого ты найдешь примечание о характере, условиях жизни, вкусах, привычках и, – главное – слабостях... Между ними есть люди, поддающиеся на обыкновенные средства соблазна, обмана или утешения. Надо придумать что-либо новенькое, дабы сделать их безвредными.

– Вот это я возьму на себя, – ответил римлянин, разрезая золотым ножом сочный персик. – Передай мне список, Сильверий.

После часовой работы секретные документы были разобраны и снова спрятаны в потайной шкаф за большим распятым, вделанным в стену.

Архидьякон чувствовал себя усталым, и, с завистью взглянув на своего сообщника, железное здоровье которого, казалось, не знало потребности во сне или отдыхе, не мог удержаться от выражения удивления.

– Выносливость – дело привычки, друг Сильверий. Она вырабатывается, как и всякая другая способность тела и души. У меня крепкие нервы, чистая совесть... – с насмешливой улыбкой ответил Цетегус.

– Я говорю серьезно, – возразил архидьякон. – Ты для меня настоящая загадка, всегда и во всем.

– Надеюсь ею и оставаться, друг Сильверий. Разгаданная загадка не нужна даже друзьям.

– Иногда мне кажется, что ты считаешь нас всех настолько ниже себя, что не желаешь высказываться из пренебрежения...

В голосе Сильверия чувствовалась обида.

Цетегус улыбнулся.

– Я только считаю себя не менее проницательным, чем тебя, а так как я всегда был неразрешимой загадкой для самого себя, Сильверий, то надеюсь остаться ею и для других. Ты знаешь, что только мелкие воды прозрачны...

– Да, – задумчиво проговорил архидьякон. – Ключ от твоей души спрятан далеко... Каждого из членов нашего союза можно разгадать, зная причину, побудившую его принять участие в заговоре. Юношеский пыл Люциния, строгое правосознание ученого юриста Сцевола всякому понятны. Меня, как и всех священнослужителей, воодушевляет желание поработать во славу святой церкви...

– Конечно, – коротко подтвердил Цетегус, но в холодной улыбке, сопровождавшей это слово, прозвучала неуловимая насмешка, заставившая архидьякона запнуться. Однако эта короткая заминка заставила его говорить еще быстрее.

– Да, друг Цетегус. Понять мотивы наших союзников нетрудно. Одних влечет к нам честолюбие, других надежда отделаться от своих кредиторов благодаря междоусобице, третьих – просто скука. Законность и порядок, введенный в жизнь королем-варваром, и долгие годы мира и спокойствия под скипетром Теодорика, до смерти надоели многим искателям приключений. Другие ненавидят владычество готов потому, что были оскорблены одним из варваров. Третьи негодуют на господство варваров-иноплеменников. Привычка считать византийского императора римским побуждает некоторых присоединиться к нам. Большинство же просто

хочет пограбить под шумок патриотической революции. Но ни одна из перечисленных причин к тебе не подходит.

– А, это тебе неудобно?.. Не правда ли, Сильверий? Зная пружины, управляющие человеком, нетрудно превратить его в куклу, – насмешливо заметил Цетегус. – Я прекрасно понимаю твое неудовольствие, достойный служитель алтаря, но помочь тебе все же не могу. И потому, в сущности, не могу, что и сам не знаю, что заставляет меня поступать так, а не иначе. Уверяю тебя, что я был бы очень счастлив, если бы ты или другой кто, сумели бы объяснить мне причины и побуждения моих поступков. С благодарностью я, пожалуй, разрешил бы этому мудрецу управлять собой. Но кто может понять то, что мне и самому неясно?.. Одно лишь чувствую я с чисто элементарной силой: отвращение к готам... Я ненавижу этот народ за его счастливую молодость, за его варварскую наивность, за глупое простодушие их по-детски чистого сердца, за их рыцарское геройство... Мне противно германское племя, добившееся власти над великим Римом с его тысячелетней историей, с его славным прошлым, с его древней культурой и с его гражданами, вроде нас с тобой. Мы никогда не сможем примириться с властью этих северных медведей.

Что-то похожее на воодушевление мелькнуло в холодных глазах римлянина и сейчас же исчезло. Снова отхлебнув глоток вина, он поглядел на архидьякона обычным равнодушным взглядом.

Сильверий, внимательно наблюдавший за своим собеседником, едва сдержал возглас недовольства, но вовремя спохватившись, заговорил елейным тоном церковного проповедника.

– Во всяком случае, у нас с тобой одна и та же цель: изгнание варваров из Рима. Этого достаточно. Не зная, чего ты желаешь для себя, скажу тебе откровенно, что я желаю одного только: освобождения Римско-католической церкви из-под власти еретиков ариан, которые, не признавая божественности Христа, низводят Спасителя до степени языческого полубога. Пока Рим будет находиться во власти готов, а византийский император поддерживать епископа константинопольского...

– До тех пор римский архиепископ не будет владыкой мира, даже тогда, когда имя его будет... Сильверий?.. Успокойся, почтенный защитник Христа. Я давно уже знаю твои желания и все же нерушимо сохранил тайну, которую ты не счел нужным мне доверить. – В голосе Цетегуса, перебившего невольно увлекшегося архидьякона, слышалась заметная издевка, немедля сменившаяся серьезностью под пытливым взглядом собеседника. – То же будет впредь, в том порукой мое слово... Налей-ка мне еще полстакана фалернского. Хорошее вино, хотя и сладковато. Настоящее женское вино, для подкрепления кающихся грешниц, которые исповедуются в этой подземной молельне... Что же касается твоих планов, то мне кажется, тебе следовало бы желать изгнания готов, но отнюдь не победы византийцев. Ведь в случае соединения обеих империй, римский первосвященник займет второе место. Первое придется уступить византийскому патриарху. Чтобы избежать этой опасности, тебе следовало бы, прогнавши готов, устроить что-либо новое... не знаю только, что?

– Быть может, восстановить отдельный престол Западно-Римской империи? – невольно увлекаясь, спросил Сильверий.

– Который был бы лишь пешкой в руках римского первосвященника, – dokonчил Цетегус, отхлебывая фалернское. – Что ж, это возможно, конечно. Но не удобней было бы для этой цели восстановить Римскую империю?

Глаза Цетегуса впились в бледное лицо архидьякона, увлеченного до полного забвения при своей всегдашней осторожности.

– Что ж, быть может, мы и доживем до того времени, когда римский первосвященник будет властителем Италии, Рим – его столицей, а короли варварских земель – Франции, Германии и Испании – покорнейшими сыновьями Католической церкви...

– Не дурной план, Сильверий, но жаль, что несколько преждевременный... Раньше чем делить шкуру готского медведя, надо свалить его, что не так-то легко, друг мой... Итак, пока что предлагаю тебе древний римский тост: «Да погибнут варвары!..»

Осушив чашу до дна, Цетегус поднялся с места и набросил свой грубый плащ на плечи.

– Ночь приближается к концу, а мои невольники должны найти меня на рассвете в моей постели, во избежание лишних пересудов и опасных сплетен. До свидания, Сильверий.

Архидьякон долго смотрел вслед ушедшему римлянину, слегка покачивая головой.

– Станный человек, – прошептал он наконец. – И хорошее оружие. Надо только позаботиться о том, чтобы это оружие сломилось вовремя... Ну да церковь римская вечна, а люди непрочны... всегда и все...

В спальне на мозаичном столике у постели Цетегуса лежало письмо, перевязанное шелковым шнурком и запечатанное большой королевской печатью. Сдвинув брови, римлянин разрезал кинжалом шнурок и, развернув складные навощенные дощечки, прочел следующие строки:

«Цезарю Цетегусу, патрицию и сенатору римскому, шлет привет Марк Аврелий Кассиодор. Наш король и повелитель при смерти. Его дочь и наследница желает тебя видеть, чтобы переговорить с тобой еще при жизни своего отца. Тебя прочат на один из важнейших постов Итальянской готской империи. Приезжай немедленно в Равенну».

V

Мрачная тишина свинцовой тучей охватила древнюю Равенну, резиденцию короля готов, императора итальянского, победоносного варвара Теодорика Великого.

Старинная крепость римских цезарей испытала немало переделок, значительно изменивших строгую выдержанность ее архитектуры.

Воинственная привычка двора потребовала уничтожения внутренних стен и перегородок, превращая уютные маленькие комнаты в казармы, склады оружия, фехтовальные и гимнастические залы.

С той же целью новые толстые стены соединили близлежащие здания с дворцом, создавая внутреннюю крепость в крепости, способную выдержать не один десяток приступов. Посреди главного двора, в высохшем водоеме из розового гранита, играли и боролись белокурые мальчуганы, а между нежно-зеленым мрамором колонн, окружающих прежний приемный зал тройной галереей, были приделаны кормушки для великолепных боевых коней Теодорика и его свиты.

Когда Цетегус переступил порог королевского жилища, мрачное здание казалось еще мрачнее от всеобщей печали, охватившей его обитателей, ожидающих кончины того, кто был душой этого дворца.

Гениальный завоеватель, управлявший Европой почти столетия, сказочный герой, перед которым преклонялись враги и друзья, великий сын Амалунгов, Дитрих Бернский, еще при жизни ставший героем легенд и сказаний, готовился к смерти.

Врачи предупредили о безнадежном положении короля его близких, как и самого больного. И хотя все окружающие великого старца давно уже предвидели возможность неожиданно скорой развязки болезни, подрывающей могучую силу железного воина, все же сообщение это произвело впечатление громового удара.

С раннего утра город начал волноваться. Густые толпы народа окружили дворец. В публичных банях, на улицах и в домах шептались с озабоченными лицами мужчины, интересующиеся политикой. У фонтанов и на рынках женщины боязливо спрашивали друг друга, что будет после смерти короля. Даже дети присмирели, чувствуя что-то необычное. К полудню появились толпы поселян из соседних деревень. Они окружили дворец тесным кольцом, боязливо расступаясь перед каждым невольником, выбегавшим из дверей, и робко спрашивали:

– Ну что?.. Как?..

Невольники отвечали коротко: «все то же», или ничего не отвечая, кивали головой и бежали дальше, к одному из врачей или сановников, которых постепенно созывали во дворец по желанию дочери короля, Амаласунты.

Ближайшие советники короля, во главе с префектом преторианцев Кассиодором, предвидели неизбежное народное волнение и заранее приняли меры для сохранения спокойствия.

Уже с полуночи дворец был оцеплен преданными германскими пехотинцами. Все входы и выходы охранялись усиленными караулами. Перед главным фасадом, во дворе, стоял сильный отряд германской конницы, а между колоннами галереи Гонория, на широких мраморных ступенях гигантской парадной лестницы, расположились «дружинники», избранные воины, телохранители короля.

Только по этой лестнице можно было войти в дом через калитку, открывающуюся возле наглухо запертых парадных ворот. Но даже эта калитка охранялась часовыми и открывалась только по приказанию двух военачальников, известных своей преданностью Теодорику.

Римлянин Киприан и гот Витихис провожали входящих поодиночке врачей, сановников и офицеров, предварительно опросив каждого. Точно так же проводил Киприан и Цетегуса через заветный порог и оставил его в начале заветного коридора, а сам вернулся к своему посту.

Медленно продвигался вперед римский патриций, внимательно оглядывая многочисленные группы, наполняющие комнаты обширного дворца. Мрачная горесть ясно виднелась на лицах готов. Даже военная молодежь грустно молчала. То тут, то там, в глубокой нише окна или в полутемном углу, стояли, прислонившись к холодному мрамору стен, старые воины, боевые товарищи великого Амалунга, тщетно пытаясь скрыть слезы, жгущие их суровые очи. Посредине одной из зал громко рыдал старик, известный богач-римлянин, которому Теодорик простил участие в заговоре, оставив уличенному не только жизнь и свободу, но и богатство, и свое доверие.

Презрительная усмешка скользнула по тонким губам Цетегуса при виде этого горько плачущего седого патриция. Молча прошел он мимо и спокойно отворил тяжелую дверь в следующий зал, где обыкновенно принимались иностранные посольства. Здесь собрались исключительно готы, цвет германского войска, ближайшиe помощники Теодорика. Все эти герцоги, графы и бароны тихо совещались между собой о том, что будет, на что можно надеяться и чего следует опасаться в случае смерти короля. И лица их были мрачны и печальны. Лучшие военачальники собраны были здесь, вблизи комнаты умирающего. Герцог Тулун Провансальский, геройски защищавший Арлес от кровожадного короля франков, герцог Иббо Лигурийский, смелый завоеватель Испании, герцог Пиза Далматинский, победитель болгар и гепидов. Это были смелые и гордые воины, могучие дубы германского леса, благородные отпрыски рода Балтов, прославленного знаменитым Аларихом, королем вестготов, лучшие помощники героя Амалунга, в продолжение десятков лет успешно защищавшие империю, созданную Теодориком, повсюду и на всех ее границах.

Хильдебад и Тейя стояли в этой же группе недовольных снисходительностью короля к побежденным, которых они ненавидели и презирали в одно и то же время, не доверяя ни их преданности королю, ни их послушанию законам победителей. При виде римлянина, явившегося к смертному одру великого германского короля, все готы вздрогнули и подняли головы, провожая Цетегуса взорами, полными гнева и недоумения. Зачем он здесь? В такую минуту? – ясно говорили холодные светлые глаза германцев, сверкающие стальным блеском ненависти и недоверия.

Но черноволосый римлянин гордо прошел мимо, не опуская своих бездонных мрачных глаз перед явно враждебными германцами. Высоко подняв свою красивую голову, Цетегус откинул смелой рукой тяжелую ковровую портьеру, отделяющую большой приемный зал от личной приемной короля, непосредственно примыкающей к спальне больного.

Посреди этой комнаты, возле большого мраморного стола, покрытого свитками пергамента и восковыми дощечками, стояла величественная женская фигура в темной одежде и траурном покрывале: Амаласунта, младшая дочь Теодорика, его наследница, мать последнего Амалунга.

Несмотря на свои тридцать пять лет, Амаласунта все еще была прекрасна, как классическая богиня. Правда, красота ее не трогала сердца. Слишком холодным и гордым было бело-снежное лицо с правильными, точно выточенными из мрамора чертами и с громадными темно-серыми глазами, в которых светились неженский ум и неженская энергия. Спокойная самоуверенность взгляда и позы придавали германской принцессе сходство с римскими богинями Юноной или Минервой, сходство, которое усиливалось еще больше классически простой греческой прической.

Рука об руку с Амаласунтой стоял семнадцатилетний юноша, внук и наследник Теодорика – Аталарих. Ни малейшего сходства с прекрасной и величественной матерью не было в нем. Зато все, знавшие его несчастного отца, родного племянника Теодорика, находили юношу живым портретом Эйтериха, безвременно унесенного во цвете лет в могилу какой-то таинственной болезнью. Его единственный сын наследовал от отца не только роковую болезнь, но и характер, кроткий, задумчивый и мечтательный. Зная это, его мать с беспокойством следила

за здоровьем богато одаренного и не по летам быстро развивающегося сына. Аталарих был красив, как все Амалунги, недаром считающиеся германцами потомками своих богов. Тонкие черные брови юноши почти сходились на переносице, оттеняя большие темно-серые глаза, в которых томная мечтательность необычайно быстро сменялась воодушевлением. Длинные темно-каштановые волосы окаймляли худое лицо, нежная прозрачность белой кожи то вспыхивала ярким румянцем, то покрывалась бледностью. Высокая, слишком тонкая и гибкая фигура юноши казалась меньше от привычки слегка гнуться, как гнется слишком быстро выросшее дерево под напором холодного ветра. Но как гордо выпрямлялся Аталарих в минуты волнения, как величественно приподымалась прекрасная бледная голова, точно освещенная горячими искрящимися глазами.

В настоящее время эти прекрасные глаза юноши никого и ничего не видели. Аталарих стоял, припав лицом к плечу матери и закрыв концом плаща свою бледную молодую голову, как бы заранее гнушущая под тяжестью короны.

У окна, выходящего на террасу, занятую готскими войсками, стояла молодая девушка ослепительной красоты, Матасунта, единственная сестра Аталариха. Несмотря на сходство с матерью, Матасунта отличалась от нее как яркое весеннее утро от холодного осеннего вечера. Всепокоряющая прелесть этой восемнадцатилетней сказочной красавицы не поддается описанию. Трудно изобразить правильность женского личика, как бы выточенного рукой гениального художника, невозможно описать неподражаемый блеск атласной кожи, сквозь которую чуть проглядывали синие жилки, нежный румянец и пурпурные губки, напоминающие полураскрытую розу, блеск удивительных глаз цвета прозрачного сапфира, ярко сверкавших между длинными черными ресницами, составляющими резкий контраст с роскошными золотисто-красными волосами, падающими почти до пола и давших Матасунте прозвание «золотокудрой богини».

Прелесть Матасунты, не опускающей своих бездонных синих глаз, была столь неотразима, что при взгляде на нее в давно застывшей душе железного римлянина шевельнулось чувство восторга и обожания. Полугерманский, полугреческий наряд, распущенные по белоснежным плечам золотые волосы, ниспадающие живым благоухающим плащом до серебряного шитья на подоле темно-синего платья, – все это делало ее столь прекрасной, что Цетегус на минуту замер, ослепленный ею.

Но ему не дали времени полюбоваться молодой девушкой. Ее мать издали узнала римлянина и, не дожидаясь его почтительного, но исполненного достоинства поклона, заговорила с ним первая.

– Мы давно уже ожидаем тебя, патриций.

Цетегус не успел еще ответить на это милостивое восклицание будущей правительницы, как к нему приблизился старый ученый Кассиодор, вернейший слуга и гениальнейший советник короля, представитель великодушной политики примирения побежденных с победителями, которая, увы, столько раз оставалась светлой, но неисполнимой мечтой во все века, в самых разнообразных условиях.

Почтенный старик, в богатом греческом костюме, быстро поднялся навстречу входящему римлянину и с неудержимым рыданием бросился на грудь холодному честолюбцу. По мраморному лицу Цетегуса скользнула презрительная усмешка, но в голосе его даже самое внимательное ухо не смогло бы различить ничего, кроме нежной и глубокой печали, когда он, крепко сжимая дрожащие руки горько плачущего старика, проговорил серьезно:

– Мужайся, друг Кассиодор. Сегодня, более чем когда-нибудь, нужна сила, мужество и разум.

– Хорошо сказано, патриций, – холодно и спокойно проговорила Амаласунта, освобождаясь из объятий сына и протягивая патрицию свою прекрасную белую руку. – Твои слова достойны римлянина и мужчины.

Цетегус почтительно поднес к губам тонкие пальцы, не дрогнувшие в его руке.

– Гениальная последовательница стойко сохраняет мудрость и силу даже в этот прискорбный день, – произнес он, низко склоняясь перед матерью Аталариха.

– О, нет, патриций, – перебил Цетегуса Кассиодор. – Не языческая мудрость и не человеческая сила воли, а милосердие Господне поддерживает дочь великого Теодорика, сохраняя в душе ее силу в этот день, когда моя старая воля надломлена горем о моем возлюбленном государе...

Амаласунта молча перевела взгляд своих красивых холодных глаз с плачущего, убитого горем Кассиодора на спокойное и серьезное лицо Цетегуса и едва заметно пожала плечами, как бы прося снисхождения к слабости старика. Затем она отвела его в отдаленный угол и проговорила, слегка понижая голос:

– Префект преторианцев, Кассиодор, говорил нам о тебе, патриций, как о человеке, способном занять один из важнейших постов в нашем государстве. Его рекомендации было бы достаточно, даже если бы я тебя не знала. Ты же мне давно знаком, патриций. Я наизусть знала твое переложение первых песен Энеиды, прежде чем узнала их автора.

– Не упоминай грехов юности, государыня, – смущенно улыбаясь, произнес Цетегус. – Я понял дерзость моего начинания и постарался исправить ее, скупив и уничтожив все экземпляры моей жалкой попытки, после того как появился дивный перевод Тулии.

Амаласунта вспыхнула от удовольствия. Она не подозревала, что римлянину известен псевдоним, под которым она, даровитая женщина, занималась литературой, и потому была вдвойне польщена его похвалой, в искренности которой не могла сомневаться. Невольно и бессознательно голос ее принял новый оттенок доверия, почти фамильярности, когда она перешла к более серьезным вопросам и заговорила о политическом положении страны.

– Ты знаешь, какое горе ожидает нас всех?.. По уверению врачей, дни моего отца сочтены. Каждую минуту смерть может подкрасться к герою, кажущемуся вполне здоровым. Малейшее волнение может убить его, волнения же избежать для монарха невозможно... Что будет дальше?.. Аталарих прямой наследник своего великого деда. Но он еще ребенок... А до его совершеннолетия я должна буду оставаться опекушкой сына и правительницей королевства.

Цетегус почтительно склонил голову.

– Такова воля Великого Теодорика, и мы все, готы и римляне, одинаково восторгаемся мудростью решения нашего государя.

Амаласунта сдвинула свои темные брови.

– Да, я знаю... Римский сенатор одобрил решение моего отца, но римский народ изменчив. Грубая мужская воля нелегко примиряется с властью женщины. Подчиниться ей кажется унижительным... многим, особенно готам...

Кассиодор, почтительно приблизившийся в начале разговора, как бы невольно выговорил, возражая:

– Амаласунта... государыня, ты ошибаешься, предполагая непочтительность там, где говорит лишь привычка повиноваться древним законам и преданиям. Тебе известно, что ни германское, ни римское право не признают власти женщины...

– Так может рассуждать только неблагодарность или возмущение, – едва слышно проговорил Цетегус. За что и получил благодарный взгляд Амаласунты, нетерпеливо возразившей Кассиодору:

– Важен факт, а не его причины. Да кроме того, несмотря на тайное недовольство многих вельмож, быть может, мечтающих о короне, я все же надеюсь на верность готов и даже италийцев... по крайней мере здесь, в Равенне, как и в главных провинциях империи. Население останется верным наследнику Теодорика Великого, как и его матери-правительнице... Я боюсь только Рима и римлян.

Сердце Цетегуса усиленно забилося, но ни один мускул не дрогнул на его бледном лице, а пылливо устремленные на королеву холодные глаза казались такими же спокойными, как и всегда. Амаласунта продолжала с легким вздохом:

– Рим никогда не примирится с завоевателями, никогда не признает главенства варваров. Я понимаю, что это невозможно...

В груди этой дочери германского героя билось сердце древней римлянки, гордящейся подвигами великих предков. Цетегус невольно залюбовался ее сверкающими глазами и строгим профилем Юноны.

Кассиодор прервал наступившее молчание.

– Мы опасаемся, как бы известие о смерти короля не вызвало беспорядков в Риме. Быть может, римляне поспешат провозгласить императором византийца или... кого-либо другого.

Цетегус молчал, опустив глаза, и как бы обдумывая слова мудрого старого политика.

Амаласунта же внезапно произнесла, решительно положив руку на плечо римлянина:

– Во избежание неожиданностей мы решили немедленно послать в Рим верного и преданного наместника, обладающего достаточным умом для того, чтобы понять обстоятельства, и достаточной смелостью, чтобы использовать их. Готский гарнизон должен будет повиноваться ему и немедленно занять ворота и важнейшие пункты Рима. Затем останется убедить сенат и патрициев, запугать народ и подкупить духовенство, а затем привести войска и граждан к присяге в верности мне и... моему сыну. Для этой важной задачи Кассиодор предложил мне тебя, патриций... Согласен ли ты сделаться префектом Рима?

Счастливая случайность спасла Цетегуса от необходимости ответить необдуманно. Амаласунта уронила золотой грифель, которым рассеянно играли ее тонкие пальцы. Цетегус быстро нагнулся, чтобы поднять золотую вещицу, и этого мгновения было ему достаточно, чтобы справиться с волнением, вызванным неожиданным предложением правительницы, и скрыть молнию торжества, сверкнувшую в его глазах. Это мгновение дало римлянину время обдумать положение и сообразить, что могло скрываться под предложением Амаласунты. Быть может, заговор в катакомбах был ей известен, и она ставила ему ловушку? Неужели же варвары настолько ослеплены тщеславием, что не понимают того, чем рискуют, ставя его, именно его, на это, именно это место... А если так, то что должен ответить он дочери Теодорика?.. Принять предложение и попытаться немедля овладеть Римом? Но во имя чего и, главное, – для кого?.. Для императора византийского или для католического первосвященника, нового папы, имя которого остается загадкой? Не умней ли было бы ждать, пока плод созреет и упадет к его ногам от собственной тяжести? Не выгодней ли будет для него, Цетегуса, оставаться верным для того, чтобы обеспечить успех предательского расчета? Быстрый и гибкий ум римлянина успел решить все эти вопросы в одну минуту благодаря второй счастливой случайности. Нагибаясь, он подметил добродушно-доверчивый взгляд Кассиодора и понял, что предложение Амаласунты никакой ловушки не скрывало и что принять его можно вполне безопасно. Все же остальное нетрудно было обдумать в одиночестве.

Почтительно возвращая Амаласунте поднятый грифель, Цетегус спокойно ответил:

– Ты слишком милостива, государыня, к своему верному слуге. В другое время я ответил бы иначе, но бывают минуты и поручения, когда не отказываются. Приказывай... Я готов повиноваться.

– Отлично, – добродушно обрадовался Кассиодор, пожимая руку римлянину, ответившему дружеской улыбкой.

– Ты доказал редкое понимание людей, старый друг, предлагая меня нашей прекрасной монархине на пост римского префекта. Ты разглядел зерно моей души сквозь жесткую скорлупу ореха.

– Как так? – спросила Амаласунта. Цетегус гордо поднял голову.

– Человек менее прозорливый, чем Кассиодор, легко мог быть обманут внешностью и, признаюсь, я не особенный друг господства варваров... прости, государыня, невольно вырвавшиеся слова. Я римлянин, и кровь великих предков течет в моих жилах... Мне нелегко примириться с властью завоевателей-готов...

– Я понимаю тебя, – ответила Амаласунта серьезно. – Твоя искренность лучшее доказательство твоей верности. Люди твоего закала на обман и на измену не способны.

– Притом я уже давно позабыл о политике, – продолжал Цетегус. – Покончив со страстями юности, я жил до сих пор лишь в качестве наблюдателя жизни, интересуясь исключительно поэзией и искусством.

– Счастлив, кто может забыть прозу жизни, – со вздохом цитировала Амаласунта известный стих Горация.

– Именно потому, что я ученик и последователь Платона, искренно мечтающий о владычестве чистого разума, воплощенного в монархине и представительнице красоты и добродетели, гречанке по уму и римлянке по сердцу... Для такой государыни я готов принести тяжелую жертву, отказываясь от покоя и свободы, но... с одним условием... Я останусь префектом Рима, за который отвечаю тебе головой, лишь до тех пор, пока это будет необходимо, и постараюсь, чтобы необходимость эта не оказалась слишком продолжительной.

– Хорошо, патриций... Мы согласны на твое условие... Вот документы. Посмотри и скажи, желаешь ли ты что либо изменить или прибавить.

Цетегус пробежал глазами свитки пергамента.

– Государыня, я вижу манифест молодого короля к римлянам, подписанный тобой... Но его подписи еще нет.

Амаласунта омочила перо в пурпурную краску, которой писали Амалунги, по примеру римских императоров, и произнесла наполовину ласково, наполовину повелительно:

– Поди сюда, сын мой, и ставь свое имя под этим документом.

Аталарих молча простоял все время разговора матери с римлянином, опираясь рукой о мраморную доску письменного стола и не спуская своих прекрасных задумчивых глаз с холодного лица патриция. В ответ на зов матери он гордо поднял голову и проговорил с нервным нетерпением наследника престола, привыкшего повиноваться, и большого юноши не привыкшего сдерживаться.

– Я не подпишу ни одной бумаги до тех пор, пока дедушка жив. Не подпишу потому, во-первых, что не доверяю этому гордому римлянину... Да, вы можете слышать мое мнение, патриций... А, во-вторых, потому, что нахожу возмутительной поспешность, с которой вы распоряжаетесь правами монарха при его жизни... Не касайтесь короны гиганта, она раздавит вас... Вы все карлики в сравнении с ним... Тебе же, матушка, стыдно делить на клочья императорскую мантию Теодорика Великого, когда за дверью умирает величайший герой тысячелетия... Это... это возмутительно...

Не договорив фразы, царственный юноша быстро отошел к окну и остановился возле своей прекрасной сестры, все еще неподвижно глядевшей на готских воинов, толпящихся на террасе. Аталарих молча обнял сестру за талию и, приложив свою бледную щеку к ее розовой щеке, упрямо отвернулся от матери.

Матасунта, казалось, не сразу заметила близость брата, углубленная в свои мысли. Но внезапно ее синие глаза вспыхнули загадочным огнем, а розовые губки прошептали чуть слышно:

– Аталарих, скажи мне, кто этот воин?.. Вот тот, в стальном шлеме и темно-синем плаще телохранителя?

– Это граф Витихис, победитель гепидов... Храбрый воин и верный друг. Я знаю его давно и люблю как родного... – и юноша продолжал шепотом рассказывать о подвигах молодого воина во время только что оконченного похода к границам империи.

Матасунта молча слушала, наклонив свою прекрасную златокудрую головку, но ее сказочные глаза разгорались таинственным синим огнем, под влиянием какого-то непонятного волнения.

Цетегус и Кассиодор с недоумением глядели на правительницу.

– Оставьте его, друзья мои, – со вздохом отвечала мать Аталариха. – Если он сказал «не хочу», то никакая сила не заставит его изменить принятое решение. Он подпишет в другой раз, когда...

Амаласунта не договорила. Двойная ковровая занавеска, отделявшая спальню Теодорика от приемной, шевельнулась, и в дверях показался греческий врач Эльпидий. Вполголоса объяснил он, что больной только что проснулся, выслал его из комнаты, желая остаться наедине со своим старым оруженосцем, Гильдебрандом, ни на минуту не покидавшим своего господина.

VI

Спальня Теодорика поражала той бьющей в глаза роскошью, которой отличались постройки последних императоров. При них благородная простота греческого искусства была вытеснена невероятным богатством, собранным завоевателями со всего света.

Яркая мозаика стен и потолка изображала победы древних римлян и поэтические легенды языческого времени, на мраморном полу чередовались сложные узоры из драгоценных камней: оникса, агата и яшмы.

Странной казалась посреди всей этой роскоши постель Теодорика, из неотесанного дуба, покрытого звериными шкурами и грубым солдатским плащом. Только вышитое золотом пурпурное покрывало, наброшенное на ноги больного, да великолепная львиная шкура с массивными золотыми лапами – подарок короля африканских вандалов – выдавали высокий сан хозяйина спальни. Вся же остальная меблировка, утварь и одежды, разбросанные по комнате, были грубы и просты и могли бы принадлежать любому германскому воину. К одной из малахитовых колонн, поддерживавших раззолоченные своды, прислонен был тяжелый боевой щит Теодорика и длинный обоюдоострый германский меч, который уже многие годы не вынимался из ножен героем, усмирившим Италию.

У изголовья постели, грустно понурившись, стоял могучий старик Гильдебранд, внимательно вглядываясь в черты лица своего повелителя, повернувшегося к нему.

Чуть-чуть поседевшие волосы Великого Теодорика сохранили дивную, светло-каштановую окраску. Только на висках, там, где короткие вьющиеся кудри казались вытертыми под тяжестью тяжелого стального шлема, выделялись две-три серебряные нити. Высокий лоб мыслителя, сверкающие почти невероятным блеском глаза и гордый изгиб орлиного профиля отличали в нем героя-завоевателя, но мягкость очертаний пурпурного рта, ясно видимого между длинными, золотисто-русыми усами и бородой, и чарующая прелесть улыбки говорили о великодушном сердце.

Долго не спускал больной монарх своих синих глаз с верного оруженосца, пытливо и грустно вглядывавшегося в бледное, утомленное лицо своего ученика, друга и государя.

Внезапно протянув руку, Теодорик проговорил спокойно и ласково:

– Пора проститься, старый друг...

Услышав эти слова, маститый воин как подкошенный упал на колени у постели больного, с глухим рыданием прижимая к своей богатырской груди исхудалую руку больного.

Ласково положил Теодорик другую руку на плечо своего верного оруженосца.

– Полно, старый друг, не заставляй меня тратить последние силы, утешая того, кто долгие годы находил утешение для мальчика, юноши и мужа... Лучше взгляни мне в глаза, старый товарищ, и скажи мне правду... Ты один лгать не умеешь... Ты не солжешь своему королю, другу и сыну в этот прощальный час... Не правда ли?

Старый оруженосец не шевельнулся, только голубые глаза его затуманились непривычными слезами и поднялись на больного монарха. Но, видно, этот светлый взгляд сказал Теодорику все, что он хотел знать, так как император тихо промолвил:

– Благодарю тебя, Гильдебранд... Послушай же, сын Хильдунга, что мне нужно узнать от тебя... Не верю я греческим врачам, лживым и обманчивым, как и их наука. Ты же получил от дедов и прадедов дар узнавать болезни и лечить их травами и корнями. Скажи же мне правду, старый верный друг. Я знаю, что смерть уже завладела мной... и давно уже... Я не знаю, когда закроются мои глаза под ее всемогущей рукой. Сегодня ночью или еще раньше?..

Орлиный взгляд героя, не утративший ни своего блеска, ни своей пронизательности, остановился на старом воине, и каждый, кто увидел бы этот взгляд, понял невозможность скрыть что-либо от этого человека.

Но старый Гильдебранд и не хотел лгать своему господину. И хотя его голос и звучал бесконечной печалью, но слова срывались твердо и спокойно с его уст.

– Ты прав, сын Амалунгов, великий вождь готов, повелитель Италии... Рука смерти коснулась тебя... Ты не увидишь солнечного восхода...

– Благодарю за правду, старый друг... Греческий врач, которого я спрашивал перед тобой, уверял меня, что впереди еще два или три дня... Теперь я знаю, что каждая минута дорога, и могу спокойно приготовиться к смерти...

– Ты хочешь позвать христианских священников? – спросил старый оруженосец, нахмурив брови, и выражение злобного недоверия промелькнуло в его печальных глазах.

Умиравший отрицательно покачал головой.

– Нет, Гильдебранд... Теперь я уже не нуждаюсь в них.

– Отдых подкрепил тебя, государь. Душа твоя проснулась от тяжелого сна, смущавшего твой покой. Слава тебе, король готов. Ты умрешь, как подобает сыну великого Теомара, внуку Божественного Амалунга.

Теодорик усмехнулся:

– Я знаю, тебе неприятны были попы у постели твоего короля. И ты был прав, друг мой... Они не могли помочь мне, когда я искал помощи.

– Кто же помог тебе победить снедающую тебя печаль-тоску?.. Кто вернул спокойствие герою, оставляющему этот мир для иного, лучшего?

– Мне помог Господь Бог Вседержитель и... моя собственная совесть, оправдавшая меня... Выслушай мое признание, Гильдебранд. Тебе одному доверяю я то, что всю жизнь терзало меня, что, быть может, привело к безвременной могиле твоего государя... То, чего никогда не узнает моя дочь и мой верный Кассиодор. Это будет доказательством любви и уважения твоего ученика и друга... Но прежде всего скажи мне, правда ли, что итальянцы говорят, будто бы тоска, овладевшая мной, вызвана была раскаянием в казни Боэция и Симаха?..

Старик молча кивнул своей седой головой.

– Ну а ты сам веришь ли этим рассказам?

– Нет, государь, никогда не поверю я, чтобы ты стал терзаться из-за изменников и предателей. Их казнь была заслуженной карой и справедливым делом... А в таких делах люди твоего закала не раскаиваются...

– Ты прав, Гильдебранд... Хотя этих изменников можно было бы и пощадить, так как их злая воля не успела принести плоды. Других я бы, конечно, простил в подобном случае, но этих людей я считал своими друзьями... Их измена огорчила меня... Они хотели украсть мою корону и продать ее византийским куклам. Моей дружбе они предпочли деньги Юстина и Юстиниана, коронованных лицемеров, недостойных трона... О, нет, я не сожалею о смерти изменников. Они не заслуживают моей жалости... Одно презрение осталось в моей душе к этим змеям, согретым на моей груди... Ты это знал, мой старый друг... Но чем же ты объяснил тоску, которую я не мог ни скрыть, ни преодолеть, и которую греческие врачи называли болезнью.

– Государь, твой наследник еще почти дитя. Ты же окружен врагами... Твоя железная рука справлялась с изменой, но сможет ли твой внук выдержать тяжесть твоей короны?..

Подвижное лицо Теодорика омрачилось.

– Ты снова прав, мой верный слуга, – торжественно проговорил он, положив руку на плечо своего старого оруженосца. – Я всегда сознавал непрочность моего престола, даже тогда, когда принимал послов с гордостью победителя... Ослабей я на минуту, и власть моя пошатнулась бы... Вот почему я молчал, скрывая сомнения и колебания, и только в глубине дворца, закрыв двери и окна моей спальни, я позволял себе вздохнуть... иногда. Ты же, как и все остальные, считал меня ослепленным гордостью и тщеславием...

Гильдебранд низко опустил голову перед умирающим героем.

– В тебе живет мудрость германского народа... Я же был глупцом, не понимавшим твоего величия.

– Ты ненавидел италийцев так же необоснованно, как я доверял им...

Теодорик замолчал. Тяжелый вздох поднял его могучую грудь.

– К чему терзать себя подобными мыслями, государь? – произнес Гильдебранд.

– Не мешай мне высказаться хоть перед смертью, старик. Хоть теперь дай сделаться человеком и сбросить с души страшную тяжесть вечного притворства... Тяжело смертному, невыносимо тяжело, стоять выше всех, чувствовать себя предметом обожания... «Не делай себе изваяния и никакого изображения», – сказал Господь. К этим словам я бы мог прибавить дружгие: «Горе человеку, ставшему кумиром». Верь мне, старый друг, нет худшего испытания на земле, как чувствовать себя земным Богом. Бывают минуты, когда жалкий земной Бог рад был бы сменить венец и престол на слово сочувствия, на дружеское рукопожатие. Сорок лет тащил я крест свой, и только теперь, при виде избавительницы-смерти, позволяю себе застонать под его тяжестью... А между тем я давно знаю, всегда знал, что государство, созданное мной, непрочно, что оно осуждено на гибель, быть может, благодаря моему охлаждению к италийцам. Теперь я вижу ясно, в чем была моя ошибка. Победенного народа нельзя равнять с победителями, как нельзя оставить в живых раненого медведя. Завоеванное племя никогда не простит унижений от своих завоевателей и рано или поздно постарается кровью смыть позор своего поражения... Что же, да будет воля Божья над моими готами, как над всей вселенной... Ничто в этом мире не вечно. Не вечна и моя империя готов италийских... И если виной гибели ее было великодушие и доброта к побежденным, то за эту вину простит не только Бог на небеси, но и потомство моего народа...

– Ты прав, государь... Твое имя останется священным для всех германских племен, как образец рыцарской отваги и благородного прямодушия.

Умиравший король грустно улыбнулся.

– О, если бы это была правда, мой верный старый друг... Если бы моя совесть не говорила другого в эти последние дни, когда моя душа, оставшаяся юной, бодрой и сильной, тщетно боролась с износившимся и одряхлелым телом. Это была последняя борьба, Гильдебранд, и последнее мое поражение... И знаешь ли, кто победил меня в последние дни страшного бессилия и мрачного уныния?.. Простая тень, призрак, воспоминание... называй как хочешь моего великого соперника, единственного врага, которого я принужден был уважать против воли и... желания. Теперь, как тридцать лет назад... Неумолимая совесть нашептывала мне все тот же страшный вопрос: что, если власть готов погибнет навсегда, если язык их станет чужим в Италии, если исчезнет воспоминание о них и их победах, что, если все это случится по твоей вине, Теодорик?.. В наказание за твою измену последнему достойному сопернику твоему, король готов...

Старый оруженосец с удивлением поднял глаза на своего короля.

– О ком ты говоришь, государь?.. Чья тень преследует тебя, лишая покоя?..

Больной закрыл лицо руками и прошептал едва слышно:

– Не мог позабыть великана-славянина.

– Одоакр!.. – вскрикнул Гильдебранд и поник своей седой головой.

Несколько минут продолжалось тяжелое молчание.

Наконец Теодорик опустил руки и заговорил глухо и отрывисто, точно против воли, припоминая тяжелое прошлое.

– И ты опустил голову при этом имени, старый друг... Ты помнишь ужасный день последней расправы... Моя рука нанесла смертельную рану величайшему герою нашего времени... И не в честном бою. Изменой убит был мой гость, в моем доме, за моим столом. Кровь его окрасила хлеб, который мы только что разделили по-братски... горячая струя брызнула мне в лицо, и взгляд его застыл, полный ненависти и презрения... Да, старик... презрения... Он

один в подлунном мире имеет право презирать Теодорика... И он вернулся на землю, откуда – не знаю, но он вернулся, чтобы еще раз бросить мне в лицо свое презрение... Шесть недель назад, в тихую лунную ночь, увидел я окровавленную тень у моего изголовья, там, где теперь стоишь ты... Могильным холодом пахнуло мне в лицо от лика загробного жителя. Но я выдержал его взгляд и узнал его... Из могучей груди струилась кровь, как в тот день, когда мой меч вонзился в нее... Но теперь бледные губы шевелились, и я слышал глухой замогильный голос, который возвестил мне: «Царь царствующих не прощает предательств... И твое царство погибнет, в искупление твоей измены. Народ заплатит долг своего государя. Таков закон, его же не преjdeши...» Сердце мое охватил холод смерти, и я понял, что такое страх...

Бледное лицо больного помертвело. Широко раскрытыми орлиными глазами глядел он перед собой.

И снова воцарилось мрачное молчание, прерываемое только хриплым дыханием умирающего монарха. Через несколько минут старый оруженосец упрямо тряхнул седыми кудрями и вымолвил решительным голосом:

– Выслушай меня, государь... Я вижу, ты терзаешься, подобно женщине, из-за нескольких капель пролитой тобою крови. Но вспомни, сколько сотен людей убил ты своей рукой, сколько сотен тысяч врагов истребил твой народ по твоему приказу. Вспомни, как мы завоевывали Италию в тридцати семи сражениях... По колена в крови шли мы вперед от далеких Альп вплоть до Равенны... Вспомни, наконец, как сложились обстоятельства... Целые годы боролся славянский зубр с германским медведем, и сломить этого зубра было трудней, чем покорить полмира... Наконец Равенна сдалась – не силе оружия, а голоду... Сдалась по договору. И ты честно протянул руку бывшему врагу, называя его другом и братом. Он же... Вспомни, государь, тот день, когда тебе передали, что побежденный Одоакр готовился снова начать борьбу, что в ту же ночь должно было начаться избиение готов... Что было делать?.. Открыто спросить у врага о его намерениях?.. Но если он задумал измену, так и признался бы в ней?.. Ты понял, что двум медведям не ужитья в одной берлоге, и спас себя и народ свой... Смерть этого человека была необходима для нас всех. Пока он был жив, о мире не могло быть и речи. Мир же был нужен не только тебе, но и твоему народу, и даже этой несчастной Италии, истерзанной бесконечными войнами... О, государь, поверь мне... Если убийство Одоакра и было преступлением, то ты загладил его целой жизнью подвигов. Ты пощадил всех сообщников своего врага и обогатил его семью и друзей. Ты спас два народа и стал отцом для обоих. Спроси своих италийцев... Они тоже скажут. Под твоей властью росло и крепло благополучие Италии и сила готов... Что же значит смерть одного человека в сравнении с жизнью двух народов? Будь я на твоём месте, я бы трижды убил каждого, мешающего воплотить твои великие и благотворные замыслы...

Старик замолчал, сверкая глазами. Но больной монарх печально покачал головой.

– Все, что ты говорил, старый друг, я и сам повторял себе сотни раз, не находя утешения... Ты был бы прав, если бы Одоакр был таким же человеком, как и другие. Но он был неизмеримо выше... Я убил его... из зависти... из страха... Да, старик, к чему скрывать настоящие мои побуждения. Теперь я понимаю, что заставило меня поднять руку на великого славянина... Я боялся новой борьбы с этим героем, сознавая страшную потребность в этой борьбе. И это сознание терзало меня денно и нощно. Ничто не могло отогнать разгневанную тень от моего изголовья. Тщетно присылал мне Кассиодор христианских епископов и священников... Они видели мое раскаяние и простили мне мой грех... Но легче мне от этого не стало... Не умею я прятаться от ответственности под сенью креста, и не понятно мне, почему мое преступление может быть омыто кровью неповинного Бога, погибшего на кресте...

Старый оруженосец радостно поднял голову.

– Ты прав, государь... Сто раз прав. Я тоже никогда не мог поверить рассказам христианских священников. Наши старые Боги куда проще и понятней, чем их непорочный агнец... Скажи же мне, сын и государь мой, ты все еще веришь в Тора и Одина?..

Слабая улыбка скользнула по бледным губам больного.

– Неисправимый язычник... – тихо прошептал он. – Нет, Гильдебранд, Один не смог бы утешить меня, быть может, потому, что вера в его светлую Валгаллу давно уже угасла в моей груди. Меня спасла от отчаяния вера в высшую справедливость, управляющую миром... Выслушай меня внимательно, старик, и постарайся понять смысл моих слов... Чем больше вдумывался я в то, что происходит на земле, тем сильнее убеждался в том, что единый Всомогущий Творец неба и земли не может быть несправедливым... Не может Он карать целый народ за преступления монарха. За мои поступки отвечаю я один. Быть может, дети и внуки мои, до седьмого поколения, как учат нас евреи... Но народ мой, мои готы, в моем преступлении не повинны и за меня не пострадают, ибо Бог не может допустить несправедливости... Додумавшись до этой истины, я успокоился, сказав себе: да будет воля Божья надо мной и родом Амалунгов. Если же мои готы погибнут, потому что так суждено Господом, так они погибнут за свою вину, а не за мое преступление. Поняв это, я смело глянул в глаза тени Одоакра и сказал ей «уйди»... И вторично побежденный враг повиновался и оставил меня... Но борьба с ним подорвала мои последние силы... Место удалившегося призрака заняла смерть... Но ее я не боялся на тридцати семи полях сражений, не побоюсь и теперь... Тебе не придется стыдиться за своего ученика, старый друг. Он сумеет умереть по-королевски. Я хотел только проститься с тобой особо и дать тебе последнее доказательство любви и доверия. Теперь ты знаешь тайники моей души и сможешь сказать моим готам, что последнюю мысль их государя была забота о них... Тебе же за целую жизнь любви и верности я не могу дать ничего большего, чем доверие твоего короля... Обними же меня, старый друг... и поцелуемся... в последний раз...

Умиравший герой потянулся к старому воину, который с рыданиями прильнул губами к исхудалой руке, нанесшей смертельный удар Одоакру, стирая слезами своих никогда не плававших глаз следы крови, пролитой не в честном бою.

– А теперь помоги мне одеться, – внезапно произнес больной, приподнимаясь с постели. – Не бойся, старина. Сил у меня хватит... Не в постели же, как слабой женщине, умирать Теодорику... Дай мне доспехи... Я так хочу...

Дрожащими руками застегивал старый оруженосец пряжку за пряжкой на боевых доспехах, выдержавших не один десяток сражений. Затем он накиннул на плечи монарха пурпурный королевский плащ и подал ему тяжелый германский обоюдоострый меч.

– Теперь позови сюда мою дочь и Кассиодора, да, пожалуй, и всех, ожидающих в приемной, – произнес Теодорик, выпрямляясь во весь свой богатырский рост. Недрогнувшей рукой надвинул он на лоб шлем, украшенный золотой короной, взял в руки тяжелое боевое копье и прислонился к мраморной колонне, величественный, могучий и приветливый, каким видели его более полувека его подданные.

VII

Когда старый оруженосец Теодорика широко раздвинул половинки тяжелого золототканого ковра, отделяющего спальню от приемной, среди присутствующих пронесся чуть слышимый шепот. С почтительным удивлением устремились взоры на больного монарха. Немногие, подходившие постепенно сановники, римляне и готы, ожидавшие увидеть умирающего, вздохнули облегченно при виде Теодорика, который в эти последние минуты своей жизни более чем когда-либо казался великим.

Никто не решался прервать торжественное молчание вопросом о здоровье императора, который заговорил первым.

Медленно и спокойно обратился он к Амаласунте:

– Готовы ли письма в Византию?.. Сообщила ли ты императору о моей смерти и о вступлении на престол моего внука?

– Вот это письмо, отец, – ответила Амаласунта так же спокойно, протягивая умирающему отцу несколько свитков папируса, внизу которых, на шелковых шнурках, висели большие восковые печати.

Теодорик пробежал глазами написанные пурпурной краской заголовки.

– Императору Юстину... первое. Второе его племяннику, Юстиниану. Да, конечно... Он не только наследник престола... Он и теперь уже повелитель своего дяди... Письма написаны недурно. Узнаю Кассиодора по красоте слога... Но вот эту строку надо вычеркнуть... Наследник Теодорика не должен ни к кому обращаться с просьбой: «защитить мою неопытную юность»... Горе готам, если их король должен будет рассчитывать на защиту византийцев... Мой внук может обращаться к императору как равный, может просить о дружбе, но не более того. Переделай эту фразу, дочь моя, и покажи мне третье письмо, отправляемое в Византию... К кому?..

– Оно великодушной и добродетельной императрице...

– Что?.. – Брови Теодорика гневно сдвинулись. – Моя дочь решилась писать в таких выражениях бесстыдной женщине, оскверняющей императорский дворец своим поведением, развратной дочери раба, беспутной танцовщице, прокрадшейся из цирка в царский дворец?.. Таким особам германские короли не пишут любезностей... Это было бы унижением.

– Ваше Величество, благоволите вспомнить о громадном влиянии этой женщины на своего супруга, – озабоченным голосом произнес Кассиодор.

– Дочь Теодорика никогда не унижится, подписывая письмо, адресованное распутной женщине, – громко произнес больной, и, разорвав приготовленное письмо на части, он бросил куски пергамента на пол. Вслед за тем он быстрыми и решительными шагами перешел через комнату и остановился у противоположной двери, возле которой стоял высокий и статный блондин, в полном вооружении, с красивым энергичным лицом и длинными волосами, падающими из-под стального шлема на синий плащ королевских готских телохранителей.

– И ты здесь, граф Витихис, мой верный слуга и храбрый друг. Я рад видеть тебя в эту минуту, чтобы сказать тебе последнее «прости» друга и последнее «благодарю» короля.

Рука Теодорика опустилась на плечо мужественного солдата, красивое лицо которого внезапно исказилось судорогой. Губы Витихиса задрожали, а смелые серые глаза затуманились слезой, когда он схватил руку умирающего короля и припал к ней горячими устами.

Теодорик ласково, почти нежно провел рукой по склоненной голове верного слуги и тихо произнес:

– Слеза храбреца – лучший знак славы для умирающего воина. Не плачь, сын мой... Смерть – общий удел, а мы с тобой слишком часто глядели в лицо смерти, чтобы бояться ее... Скажи мне лучше, какое место займешь ты после моей смерти?..

– Мне дано главное начальство над нашей пехотой, общий смотр которой назначен через три месяца, вблизи Тридентского озера.

– Прекрасно... Лучшего назначения я не смог бы сделать... С Богом отправляйся к месту назначения, не теряя времени. Не жди моего погребения. Каждый день дорог в такое время. Быть верным слугой моему наследнику я тебя не прошу. Это само собой разумеется. Но я прошу тебя быть отцом для моих готов и другом неопытному юноше, внуку твоего старого короля.

Сильная фигура закаленного в боях воина дрогнула и пошатнулась. Точно железными клещами стиснуло горестное волнение горло Витихиса. Тщетно силился он сказать что-то... Только губы его беззвучно шевелились. Безнадежно махнув рукой, он на мгновение прижался мокрым от слез лицом к руке своего умирающего монарха и пошатываясь двинулся к двери.

Теодорик остановил его.

– Постой... Ты еще не сказал мне своего желания, Витихис, хотя и немало времени прошло с тех пор, как ты разбил мятежных гепидов, а я дал тебе слово исполнить каждую твою просьбу. Неужели у тебя нет ни одного желания, исполнение которого зависело бы от твоего короля?..

Отчаянным усилием преодолев свое волнение, граф Витихис поднял голову.

– Если государь мой захочет осчастливить своего верного слугу, то да простит он бедняка гота, служившего тюремщиком и приговоренного к пытке за то, что он отказался пытать одного из заключенных... Прости эту просьбу, государь... Но пытка всегда казалась мне гнусностью, недостойной человечества. Твое величие не должно быть омрачено снисхождением к бесцельным жестокостям...

– Граф Витихис, – торжественно произнес Теодорик, положив руку на плечо победителя гепидов, – эта просьба удваивает долг твоего короля... Кассиодор, ты слышал его слова?.. Распорядись же, чтобы немедленно было разослано по всем провинциям предписание об отмене пыток в царстве готов, и позаботься, чтобы всем стало известно, кому первому пришла в голову эта великодушная мысль... Тебя же, сын мой Витихис, я прошу принять моего боевого коня на память о твоем старом короле. Баллада будет служить тебе верой и правдой, как мне служила. И если когда-нибудь жизнь твоя будет зависеть от быстроты моей золотогривой Баллады, то шепни ей на ухо мое имя, и никакая птица не обгонит тебя... не благодари меня, сын мой... Я благодарю тебя за эти слезы... Но... довольно. Мои минуты сочтены... Мы мужчины. Я должен еще стольким распорядиться... Скажи мне, Кассиодор, кому поручена охрана Неаполя?

– Я избрала графа Тотиллу на пост губернатора нашей важнейшей гавани, – ответила Амаласунта. – Он очень молод, но на его верность можно положиться.

– И ты поступила умно, дочь моя... Тотилла любимец Богов. Его баюкали добрые феи... Сердца мужчин и женщин одинаково покоряются прелести прекраснейшего из готских юношей. Правда, есть еще латиняне... Как знать, что происходит в их сердцах... Но да будет воля Господня над всеми нами...

Теодорик на мгновение задумался и затем произнес с оттенком беспокойства:

– А кто отвечает за Рим?.. За сенат, дворянство и народ римский?

– Цетегус Сезариус... Вот он, государь, – ответил Кассиодор, жестом руки указывая на стоящего близ него римлянина. – Благородный патриций согласен занять пост римского префекта.

– Цетегус Сезариус... – медленно повторил Теодорик. – Имя известное... Подыми голову и взгляни мне в глаза, благородный римлянин...

Медленно и нерешительно поднял патриций свои бездонные глаза. Сверхчеловеческим усилием воли удалось ему выдержать орлиный взгляд умирающего короля. Этот взгляд прожигал его душу, проникая в сокровенные тайники сердца со сверхъестественной, почти чудо-

творной прозорливостью гения, усиленной близостью смерти, озаряющей ум уходящего героя светом вечной истины.

Долго глядел Теодорик в загадочные мрачные глаза римлянина и, наконец, произнес задумчиво:

– Ты долго держался в стороне, Цетегус Сезариус... Долго не хотел переступить порога моего дворца. Почему?... Добровольное изгнание для человека, подобного тебе, странно или... опасно... Теперь ты возвращаешься на государственную службу?... Это странней и, быть может, еще опасней...

– Я здесь не по собственному желанию, государь, – спокойно ответил римлянин, едва выдерживая беспорядочное биение сердца, которое болезненно сжималось под пронизывающим взглядом короля готов.

– Я головой своей ручаюсь тебе за верность моего друга Цетегуса, – быстро произнес Кассиодор, почтительно приближаясь к королю.

Теодорик улыбнулся, как улыбается снисходительный дедушка наивности любимого маленького внука.

– Мой добрый Кассиодор... Я знаю твою верность и верю тебе безусловно, но ручаться за другого никогда не следует... Особенно в наше время, когда даже за себя самого не всякий поручиться может... Впрочем, успокойся... За этого римлянина ручается мне его гордость. Потомок великого Цезаря, с профилем и глазами Сципиона, никогда не продаст Италию греческим евнухам...

Еще раз впились светлые глаза умирающего орла в страшно побледневшее лицо железного римлянина, с ужасом чувствующего, как привычная маска ледяного спокойствия тает под могучими лучами королевского взгляда. Но вот внезапно рука Теодорика тяжело опустилась на плечо римского патриция, невольно вздрогнувшего от этого прикосновения. Нагнувшись к самому уху Цетегуса, умирающий король готов произнес тихо, но внятно:

– Выслушай предостережение умирающего, потомок героев... Ты римлянин, мечтающий о восстановлении древней славы великого Рима... Я читаю мысли в твоей гордой душе, потому что родился я от римской матери, я мечтал бы о том же самом... Но помни мое предсказание, Цетегус... Никогда не сбыться твоей великой мечте... Реки не текут вспять, и колесо мировой истории назад не повернет даже твоя сильная рука, правнук Цезаря... Времена Сципионов миновали безвозвратно, и ни один римлянин никогда больше не удержится на престоле Римской империи... Не возражай мне, Цетегус... Я не хочу знать, друг ты или враг мне и моему народу. Я знаю одно... Недостойному врагу ты не отворишь ворот Рима. Остальное в руках Того, Кто решает судьбы империй и народов, в руках Царя царствующих... Ты же помни предостережение умирающего, если не хочешь погибнуть бесславно и бесполезно не только для самого себя, но и для... твоего Рима... Что там за шум, дочь моя? – внезапно обратился Теодорик с вопросом к Амаласунте, которая шепотом отдавала приказание поспешно подбежавшему к ней воину.

– Ничего важного, государь, отец мой, – ответила Амаласунта, но легкая розовая тень пробежала по ее беломраморному лицу, выдавая сдержанное волнение.

Теодорик гордо выпрямился, и глаза его сверкнули таким огнем, что все присутствующие, не исключая Амаласунты и Цетегуса, вздрогнули и склонили головы.

– Тайны, Амаласунта?... От меня тайны?... Вы позабыли, что я еще жив и что я ваш повелитель, – произнес Теодорик, не возвышая голоса, но взгляд его горящих гневом глаз, его осанка и голос излучали такую власть и силу, что все присутствующие упали на колени.

Теодорик молча обвел глазами коленапреклоненных и тихо произнес:

– Встаньте... Я не сержусь и прощаю вам неуместную заботу о моем спокойствии... А теперь, дочь моя, прикажи отворить двери.

Роскошные, трехстворчатые двери в соседний приемный зал широко распахнулись, открывая взору короля многочисленные группы римлян и готов, в военных доспехах или в богатых придворных костюмах. Между ними резко выделялась группа странно одетых иноземцев, с землистыми лицами, узкими раскосыми глазами и длинными черными волосами, падающими гладкими прядями на плечи из-под черных барашковых шапок. Одетые в короткие полушубки из волчьего меха, шерстью внутрь, и длинные черные бурки из грубо выделанной овчины, шерстью наружу, они были вооружены кривыми саблями и широкими кинжалами, засунутыми за пестрые пояса. Все эти полудикие люди что-то громко кричали на каком-то непонятном гортанном наречии, размахивая руками и поминутно хватаясь за оружие.

– Кто смеет возвышать голос в приемной императора? – спокойно произнес Теодорик, делая несколько шагов навстречу чужестранцам, которые точно окаменели при виде его и как подкошенные свалились ничком на землю к его ногам, громко ударяясь лбами о мраморные плиты мозаичного пола.

– А... это послы разбойников аваров, беспокоящих мои границы, – насмешливо произнес король, останавливаясь шагах в двадцати от растянувшихся на полу дикарей, исподтишка всматривающихся в могучую фигуру Теодорика, беспокойно бегающими своими мышиными глазками. – Наконец-то вы явились с повинной, негодяи, – продолжал Теодорик, и невыразимое презрение сказалось в его голосе. – Хорошо, что вспомнили о сроке ежегодной дани, раньше чем вступил карательный отряд напомнить вам о вашем долге... Надеюсь, вы привезли дань полностью и вместе с ней, что гораздо важнее и серьезнее, намерение исправиться... Помните, что мне надоело слышать жалобы моих подданных на ваши разбои... Берегитесь испытывать мое терпение.

Один из аваров слегка приподнял голову.

– Государь, мы привезли тебе дань, – заговорил он хриплым, гортанным голосом. – Вот взгляни на образцы драгоценных мехов и оружие... Вот и ковры, и мечи, и щиты... Все привезли полностью, в исправности... Твои счетчики переписывают все полученное... За этот год мы в расчете, великий император. Что же касается будущего, то мы хотели... мы думали... мы желали... – Авар пал на землю и умолк, не находя подходящих слов.

– Вы желали посмотреть, не умер ли старый Теодорик ненароком, и нельзя ли обмануть неопытного и слабого юношу, его наследника? – насмешливо докончил король прерванную речь посла разбойничьего племени кочевников, набеги которых на границы готских земель стали за последнее время сущим бедствием. Дикое и необузданное монгольское племя не заслуживало ничего, кроме презрения, и Теодорик не считал нужным скрывать его. – Без возражений, шпионы, – гневно продолжал он, смерив сверкающими глазами распростертых у его ног дикарей. – Молчите, соглядатаи, и убеждайтесь в том, что расчет ваш оказался ошибочным. Старый лев еще жив и силы своей не утратил. Подай мне один из привезенных мечей, Витихис... Самый большой и тяжелый... Вот тот, у колонны, справа...

Приняв оружие из рук почтительно склонившегося Витихиса, Теодорик взял его одной рукой за рукоятку, а другой за острие и согнул, как будто пробуя крепость широкого клинка. Едва заметное усилие сделала похудевшая рука больного, и толстая полоса закаленной стали звякнула и сломалась. Лезвие со звоном упало на пол, в руке же короля осталась рукоятка, которую он презрительно бросил к ногам изумленных аваров.

– Плохое же у вас оружие, – насмешливо произнес Теодорик. – Как видите, моим готам не придется вынимать мечей из ножен; сражаясь с вами голыми руками они справятся с вашими мечами. И помните, что внук мой – готский юноша и докажет сейчас, что они созревают раньше других... Аталарих, подойди сюда, сын мой... Вот эти дикари надеются, что тяжесть моей короны раздавит твою юную голову. Докажи им, что ты плоть от плоти Теодорика и по праву получишь в наследство его оружие... Возьми мое копье, сын мой, и покажи, что оно не слишком тяжело для твоих молодых рук.

Аталарих подбежал к деду. Его бледное лицо горело ярким румянцем. Никогда еще фамильное сходство с дедом не было так заметно, как в эту минуту душевного волнения, когда гибкая и стройная фигура юноши гордо выпрямилась, а в задумчивых, кротких глазах заблестело пламя одушевления. Без видимого усилия схватил он копьё своего деда и с такой силой ударил острием по одному из тяжелых щитов, привезенных аварами в качестве почетного дара самому королю, что острие пробило железную окоу щита, насквозь пронзив толстую буйволовую кожу, и глубоко вонзилось в резную дубовую колонну, поддерживающую свод приемной залы.

Бледная рука Теодорика ласково опустилась на красивую темнорусую голову внука. Гордая радость любящего деда смягчила на мгновение строгие черты короля. Но через минуту брови его снова грозно нахмурились.

– Вы видели, что царство готов не останется беззащитным после моей смерти... Ступайте и расскажите своим соплеменникам, что наследник Теодорика сумеет сохранить завоевания своего деда, сумеет и наказать дерзких разбойников, оскорбляющих его верных подданных.

По знаку Теодорика тяжелые двери большой приемной залы закрылись, скрывая короля и его приближенных от пораженных и притихших аваров.

Теодорик обернулся к Гильдебранду, не спускавшему глаз со своего повелителя.

– Подай мне кубок вина, Гильдебранд... Последний кубок я хочу выпить так, как пили наши прадеды... Спасибо, Гильдебранд. Из твоих рук принимал первый кубок юноша Дитрих много-много лет назад... Из твоих рук принимает теперь кубок старый Теодорик, король готов, император италийский... Благодарю тебя за верную службу, отец и друг мой... Пью за вечное благоденствие, за вечную славу моего любимого народа...

Медленно осушил Теодорик громадный турий рог, окованный серебром, и твердой рукой поставил его на мраморный столик. Затем он поднял глаза к небу. Лицо его медленно бледнело... Он схватился рукой за грудь и без крика, без стона упал в объятия своего старого оруженосца, медленно опустившегося на одно колено, поддерживая гордую голову в боевом шлеме, под золотой королевской короной.

Жуткая тишина воцарилась между присутствующими. Пораженные ужасом, они не смели шевельнуться, не смели верить тому, что случилось.

Но вот Аталарих взглянул на искаженное горем лицо старого Гильдебранда, по морщинистым щекам которого медленно катились крупные слезы, и с воплем отчаяния кинулся на грудь мертвого деда.

Великого Теодорика не стало... Осиротело могучее племя готов, так долго бывшее грозой всей Европы...

VIII

Смерть Теодорика Великого была событием безмерной важности для всего Древнего мира.

Прошло едва полстолетия с тех пор, как сказочный герой «Дитрих Бернский» спустился со швейцарских гор, вместе с целым племенем готов, по пути, уже не раз служившим то славянским, то германским, то гуннским племенам, и ринулся в Италию, в середине которой горел угасающий, но все же ярким блеском светившийся великий Рим, развенчанная Константином Великим столица Древнего мира.

Со времени перенесения столицы Римской, или «латинской» империи на Босфор, в новооснованную Византию, Вечный город Рим утратил свое первенствующее значение, но все же он оставался величайшим и богатейшим центром цивилизации, промышленности и торговли. Затем, когда наследники Константина Великого поделили между собой громадное государство, то Рим снова стал столицей Западно-Римской империи, пока юная Византия росла и крепла, постепенно превращаясь в Константинополь, ставший столицей Восточно-Римской империи, получившей название Византийской.

Мирное существование двух империй, двух императоров и двух столиц продолжалось недолго. В раздираемом интригами аристократов, восстаниями плебеев и набегами варваров Риме скоро не осталось потомков императора Константина. И вслед за тем возмущение легионов, давно уже набиравшихся из тех же племен, которых великое переселение народов толкало в Италию с целью грабежа римских провинций, вознесло на трон Августа и Константина гениального искателя славы и приключений – Одоакра Великого.

Смелый и талантливый вождь славянских племен, заброшенных великим переселением народов в плодородные долины Италии, Одоакр успел было укрепиться на троне Цезарей, но византийская хитрость погубила его.

Сознавая невозможность собственными силами бороться с мужественными выходцами из славянских земель, византийские императоры с калейдоскопической быстротой то свергаемые, то вновь утверждаемые постоянными дворцовыми интригами, призвали на помощь против молодого и крепкого славянского племени другое такое же племя – германское, вождем которого был Дитрих, или Теодорик... Началась борьба двух народов, двух религий, двух принципов: славянского и германского. Борьба длилась долго и окончилась убийством великого славянина, замаравшего руки великого германца...

А хитрые византийцы ликовали, видя, как их враги взаимно обессиливали друг друга. Расчет императора Зенона, одного из тончайших политиков древности, оказался правильным. Одного лишь не учел хитрый греческий интриган, овладевший престолом Константина Великого, а именно, честолюбия победителя, вождя готов. Победив Одоакра в качестве военачальника Византии, Теодорик не хотел отказаться от плодов своей победы и преспокойно остался в Италии, считая ее законной добычей своего меча. Противиться этому было некому... Ни у византийцев, ни у римлян не хватило для этого ни войска, ни смелости, ни энергии. Пришлось византийскому императору покориться неизбежному и признать совершившийся факт: воцарение германского короля готов на престоле Западно-Римской империи.

С тех пор прошел не один десяток лет. Великий Теодорик правил Италией как мудрый и справедливый монарх, стараясь примирить италийцев с готами и заставить побежденных забыть ужасы завоевания мягкостью, вдвойне удивительной в те суровые времена, когда народами и монархами признавалось только одно право – сила.

Теодорик сделал все, что было во власти человеческой, чтобы примирить непримиримое и слить воедино победителей и побежденных, готов и италийцев. И его могучей личности удалось сдержать враждующие стороны и придать вид солидной и крепко сплоченной державы

противоестественному и насильственному союзу двух племен, двух религий, двух цивилизаций, двух принципов: германского – со стороны готов, латинского – со стороны римлян.

На взгляд поверхностного наблюдателя, империя Теодорика Великого была крепка и сильна не только храбростью народа-завоевателя, но и уважением окружающих племен и народов к вождю готов. Короли Франции, Бургундии и прочих земель гордились родством с Великим Теодориком и признавали его как верховного вождя всех германских государств. Но все это только казалось... Сам Теодорик лучше всех понимал опасность положения своего наследника.

Он знал, что римляне в душе своей продолжают считать его варваром и еретиком, а народ его врагом и притеснителем. Для гордых потомков древних римлян единственным законным монархом оставался император Восточно-Римской империи, и к Византии устремились все симпатии и помыслы латинян.

Со своей стороны, в Константинополе с нетерпением ждали смерти старого героя, которому никто не смел противостоять. Появлялся шанс свергнуть «постыдное иго» варваров и отбросить готов назад, туда, откуда они пришли, – в дикое отечество германских племен. Справиться с наследником Теодорика, казалось, нетрудно. Большой юноша и гордая слабая женщина, воспитанная полугречанкой, представлялись не опасными римским патриотам, заключившим тайный союз с византийским императором.

По всей вероятности, смуты и волнения начались бы немедленно после смерти Теодорика Великого, если бы его старый друг и верный слуга, ученый-историк Кассиодор, много лет бывший доверенным советником Теодорика, не принял заблаговременно нужных мер для того, чтобы сохранить спокойствие в стране.

Зная характер своих соотечественников, Кассиодор прежде всего позаботился объявить перемену правления как уже свершившийся и не встретивший нигде сопротивления факт. В то же время разосланы были уполномоченные по важнейшим городам и отдаленным провинциям, чтобы принять от населения клятву в верности новому королю Аталариху и Амаласунте, как правительнице, впредь до совершеннолетия ее сына. Эти же уполномоченные должны были объяснить италийцам, что новые правители будут так же милостивы к своим италийским подданным, как и покойный государь. Этого обещания оказалось достаточно для того, чтобы все благоразумные и мирные граждане предпочли спокойствие и порядок, позволяющие каждому жить и молиться, работать и богатеть как ему угодно, – несомненной и неизбежной смуте и треволнениям, разорительным для торговли, промышленности и земледелия. Для устрашения беспокойных элементов собраны были сильные отряды вооруженных готов, численность и воинственный вид которых могли и должны были заставить задуматься каждого, мечтающего перейти на сторону Византии.

В это же самое время в Византию отправлено было от имени молодого короля и правительницы чрезвычайное посольство с дружескими письмами, делавшее затруднительным и неловким для императора Юстина открытое нарушение договоров... по крайней мере на первое время.

После Кассиодора наибольшую услугу новому правительству готов оказал римлянин Цетегус, так неожиданно назначенный префектом Вечного города у постели умиравшего Теодорика.

Тело героя, создателя империи готов, еще не успело остыть, а Цетегус уже мчался обратно в Рим, обгоняя курьеров, развозящих манифесты правительницы.

Прежде чем кто-либо из римских граждан мог узнать о событиях в Равенне, вновь назначенный префект Рима успел сговориться с командующим дружинами готов, расквартированных в Риме и его окрестностях. На рассвете дружины эти уже были стянуты к Риму. В самом городе все исторические здания, как, например, сенат или громадный амфитеатр, в котором устраивались собрания римских граждан, были окружены сильными отрядами готской пехоты.

Конница заняла главные площади и перекрестки, а многочисленные патрули не допускали формирования всегда опасных уличных скопищ.

Солнце еще не успело побороть утренний туман, ежедневно, в это время года, поднимающийся от волн Тибра, когда «отцы-сенаторы», приглашенные для чрезвычайного заседания, были уже в полном сборе. С удивлением узнали они две новости сразу: назначение Цетегуса Сезариуса на пост префекта, то есть генерал-губернатора Рима, и о вступлении Аталариха на престол своего великого деда. В искусной речи, полной недомолвок и многозначительных намеков, Цетегус сообщил о смерти Теодорика и о необходимости немедленно принести клятву его преемнику и правительнице-матери, «во избежание печальных недоразумений», могущих окончиться полной гибелью Вечного города. При этих словах взгляд Цетегуса скользнул в сторону, где между мраморных колонн роскошного портика синели плащи готских всадников и сверкали в лучах солнца копыта пехотного отряда, занявшего все входы и выходы. Понять значение этого взгляда было нетрудно, и «отцы-сенаторы» его поняли.

Без малейшего колебания была произнесена клятва верности всеми присутствующими, среди которых находилось немало участников заговора, видевших Цетегуса в катакомбах и слышавших его пламенный призыв к борьбе с готами. Однако ни один из заговорщиков не протестовал против единогласного решения послать молодому королю и правительнице поздравления и подтверждение в верности им сената и города.

Презрительная усмешка скользнула по тонким губам нового префекта, когда он благодарил в немногих красивых фразах, от имени короля и готов, «верных и благородных» отцов Вечного города. После этого, прежде чем присутствующие успели опомниться от удивления, Цетегус быстро скрылся из сената.

Оставив почтенных сенаторов обдумывать все случившееся в здании, окруженном готскими войсками, получившими приказ всех впускать, но никого не выпускать, впредь до нового распоряжения Цетегуса, он сам направился к большому амфитеатру, выстроенному Флавиями, где уже волновалась громадная толпа легкомысленных и страстных «квиритов» – полноправных римских граждан, голоса которых попеременно превозносили консулов, диктаторов, императоров, республику, не исключая двух последних чужеземных завоевателей, Одоакра и Теодорика, взявших с боем корону Западно-Римской империи.

В длинной пламенной речи, мастерском образчике ораторского искусства, префект Рима объяснил важность нового политического положения, ярко освещая выгоды спокойствия и законности, водворенных Теодориком Великим, и красноречиво предупреждая об опасности и невыгоде волнений, разоряющих город и горожан. Перечисляя великие качества Теодорика и его геройские подвиги, Цетегус сумел растрогать легковозбудимую толпу южан. Доброта и справедливость покойного императора были всем известны, так же как и его привязанность к римлянам, его уважение к нравам, обычаям и верованиям латинян... Перечислив все эти общеизвестные качества Теодорика Великого, Цетегус искусно перевел речь на его преемников. По его словам, Аталарих и правительница, внук и дочь монарха, по своему воспитанию, по вкусам и убеждениям больше чем наполовину латиняне. Что Рим для них вторая родина, а звание римских граждан – высшая честь.

Это выражение он, Цетегус, не раз сам слышал из уст правительницы.

Хитрый политик, знающий безграничное тщеславие римлян и умело использующий слабости человеческие для достижения своих целей, добился своего – народ ответил на его сообщение шепотом одобрения.

В заключение своей двухчасовой речи префект пообещал гражданам щедрую раздачу денег и продовольствия, а также семидневные представления во всех цирках. Тем самым он решил отпраздновать не только свое назначение, но и воцарение нового правительства, глава которого, Амаласунта, гениальная дочь великого Теодорика, дорожит славой латинского поэта более, чем золотой короной германской принцессы. Громовое «ура!» перекрыло голос искус-

ного оратора. Пылкие и увлекающиеся южане совершенно искренне клялись в верности Аталариху и его матери и благословляли память великого Теодорика.

Но громче и чаще всего слышались крики восторга по адресу префекта Рима, внезапно ставшего любимцем праздной и жадной черни, требующей только двух вещей: хлеба и зрелищ...

И лишь теперь, упрочив признание Аталариха народным согласием, дозволил Цетегус выпустить «отцов-сенаторов» из временного их заключения.

Пока удивленные, негодующие, безразличные или учитывающие возможные выгоды случившегося сановники, волнуясь и спеша, покидали здание сената, человек, вызвавший это волнение, заперся у себя в кабинете и начал писать правительнице и Кассиодору о том, что было им сделано в Риме.

IX

Странной была жизнь и судьба Корнелия Цезаря Цетегуса... Он был потомком несметно богатого рода патрициев, основатель которого составил себе огромное состояние во времена Юлия Цезаря. Тот любил его сильно и открыто, так что люди, называвшие первого Цезаря отцом первого Цетегуса, очевидно, были правы. Как бы то ни было, но память Юлия Цезаря была священна в роду римских патрициев, последним потомком которых оставался Цетегус Сезариус.

Получивший наилучшее по тому времени образование, не по летам развитой и необычайно даровитый, юноша быстро усвоил себе все, чему можно было научиться в школах Рима, Афин и Александрии. Юридические науки давались ему так же легко, как и философия, история и искусство. Все это вместе, или по очереди, одинаково сильно увлекало, и так же одинаково быстро утомляло его, не давая удовлетворения горячей душе и пылкому уму молодого патриция, разбив последние остатки религиозных верований в его сердце.

По окончании обычных в то время для знатных патрициев путешествий Цетегус исполнил волю отца и поступил на государственную службу. Он быстро пошел в гору и достиг высших должностей, доступных патрициям. И тут он внезапно и неожиданно для всех бросил службу, не давшую достаточного простора его ненасытному честолюбию. Ему стало противно быть одним из колесиков сложной административной машины, которая служила варварам.

К счастью для Цетегуса, настоящая причина его отставки осталась никому не известной. Его удаление от службы объясняли смертью отца, умершего как раз в это время. Необходимость осмотреть свои поместья и ознакомиться с хозяйством послужила для Цетегуса предлогом к длительному отъезду из Италии, во время которого он вел жизнь, полную приключений.

Не было страны, в которой бы не побывал молодой миллионер, не было города, где бы он не познал всех наслаждений, доступных безграничной фантазии и неисчислимому богатству, дозволенных и недозволенных, невинных и преступных.

Только железное здоровье и железное сердце могли безнаказанно вынести все излишества и наслаждения страсти, которым до пресыщения отдавался красивый римский богач в Европе, Азии, Африке, поочередно, жадно гоняясь за приключениями. Сегодня среди утонченной цивилизации древних столиц, завтра в глубине дикой природы и первобытных нравов неизвестных стран, населенных вандалами.

Целых двенадцать лет провел Цетегус вне Рима, удивляя всех встречающихся с ним, – одних своей безумной роскошью, других безудержной отвагой, третьих, наконец, безграничной разнузданностью и развращенностью. Когда же он решил наконец вернуться домой, возмужалым, сильным, прекрасным, как герои древних легенд, то римская аристократия приняла его с распростертыми объятьями. Высшее общество Рима надеялось на возобновление роскошных приемов в новом дворце, который начал строить Цетегус у подножья Капитолия, посреди небольшого, но тенистого сада.

Однако надежды римского общества не осуществились. Вилла Цетегуса оказалась маленьким, хотя и роскошно убранном домом, снабженным всеми удобствами для спокойной жизни ученого или художника, но отнюдь не для великолепных пиров и многолюдных собраний, на которые рассчитывали сограждане богатого патриция.

Пренебрегая светскими успехами, герой стольких романтических приключений – Цетегус удивил римское общество, выступив на литературном поприще, где добился таких же успехов, как и повсюду. Изданное им описание его путешествия имело шумный успех, вторично привлекая к Цетегусу внимание не только его сограждан, но даже императора италийского и его дочери, всегда покровительствующей поэтам и художникам и лично занимавшейся литературой.

Цетегуса пригласили ко двору Теодорика, в Равенну, где знаменитый историк и первый сановник при дворе короля готов почувствовал искреннее расположение к выдающейся личности римского патриция, которому сам Теодорик предложил опять поступить на государственную службу, на один из высших постов империи.

Вместо ответа Цетегус неожиданно исчез. В Риме, как и в Равенне, тщетно ломали головы, отгадывая, куда бы он мог скрыться и что было причиной столь загадочного исчезновения. Таинственное отсутствие его продолжалось несколько месяцев и осталось загадкой как для друзей, так и для врагов Цетегуса. Тщетно вынюхивали тому причины римские сплетники и сплетницы, которых в древности было не меньше, чем в наше время, тщетно пытались подкупать врагов Цетегуса. Никто не знал и не догадывался, где и как провел время своего отсутствия Цетегус. Известно стало одно обстоятельство: рыбаки беднейшего предместья Рима обнаружили еле дышавшего патриция за городом и, приведя в чувство, принесли его, опасно раненного, в свою убогую лачугу. Но где и кто его ранил, куда он девался по выздоровлении, – так и оставалось тайной вплоть до той поры, пока имя Цетегуса снова не привлекло внимание жителей Рима. На этот раз вести о нем донесли с Севера, где на границе империи Теодорика началась жестокая и упорная война с гепидами, аварами и славянами.

С отборной дружиной, завербованной Цетегусом и оплаченной из его собственных средств, римский патриций дрался, как лев, и заслужил восторженные похвалы готского военачальника, удивить которого воинской доблестью было не легко, особенно римлянину. Забыв свое недоверие к латинянам, граф Витихис отдал в распоряжение Цетегуса сильный отряд готской конницы, с которой тот неожиданно появился перед одной из сильнейших крепостей гепидов и взял ее приступом, показав редкое искусство инженера и военачальника.

После падения этой крепости, Сирмиума, гепидам пришлось просить мира, который и был им дарован Теодориком. В день подписания мирного договора Цетегус бросил военную службу и снова начал странствовать по белу свету, пока наконец не вернулся на родину, где стал вести затворническую жизнь. Казалось, он решил доживать свой век разочарованным полутшельником, ничего не делая и ни с кем не видясь, к немалому удивлению всех почитателей его разносторонних дарований. Но вдруг патриций снова исчез, правда, уже на короткое время, после чего и вернулся в Рим не один, в сопровождении юноши, почти мальчика, которого он намеревался усыновить.

Пока юный Юлиус Монтан оставался в доме богатого патриция, Цетегус изменял своим отшельническим привычкам. Он сблизился вновь с аристократическим обществом Рима, охотно принимая блестящую молодежь и друзей своего юного воспитанника, для которых богатый опытом, талантами и приключениями патриций являлся недостижимым идеалом. Когда же этот воспитанник покинул своего воспитателя, отправившись, по обычаю времени, путешествовать в сопровождении целого штата педагогов, профессоров, вольноотпущенников и рабов, Цетегус снова прервал все сношения с обществом и заперся в своем доме, угрюмый, скупающий, ничем не занятый. Казалось, он окончательно решил доживать век одиноким мизантропом, досадливо отмахиваясь от новых знакомств, упорно избегая старых друзей, недоступный ни любви, ни дружбе, ни ненависти.

Не без труда удалось Рустициане и Сильверию привлечь его к участию в заговоре, организуемом против готов. Цетегус не скрывал того, что уступил просьбам архидьякона и вдовы Бозция просто от скуки, не веря в патриотизм своих соотечественников. Прекрасно зная вырождающихся римлян, изнеженных потомков древних героев, он относился свысока к политическим разглагольствованиям заговорщиков и равнодушно принял роль вождя, которая как бы само собой была ему отведена.

Теперь только, как представился случай испытать свое влияние, Цетегус внезапно почувствовал прилив честолюбия. Точно яркая молния прорезала темное облако, окружавшее его душу, скрывая от него самого ее бездонные глубины. Как-то сразу стало ясно Цетегусу, что все

его странствования, попытки и начинания вызывались одним и тем же побуждением честолюбия... Быть первым всегда и везде, первым на любом поприще, удивляя, поражая и порабощая людей и обстоятельства, – вот что могло еще доставить наслаждение душе, пресыщенной всеми наслаждениями, всеми успехами. Цетегус понял, что на земле оставалась одна цель, которой стоило добиваться даже ему, – повелевать Римом.

Это идея... Но следующая мысль подстегнула ее: «Да, для этого стоит работать, жить и рисковать».

Молча приблизился Цетегус к великолепной мраморной статуе великого царя, подарившего свое изображение тому, кого весь Рим считал его сыном. Пристально взглянул Цетегус в мраморное лицо сказочного победителя.

Гордое сравнение шевельнулось в его мозгу. План, зарождавшийся в его голове, казался трудней, чем победа великого Юлия.

– У тебя были легионы героев, – бессознательно шептал гордый римлянин. – Я же один выхожу на борьбу... Ты был окружен римлянами, которые с восторгом признали тебя властелином, я же должен создать сначала свой народ, над которым хочу властвовать. Тебе, великий Цезарь, нужно было победить полчища варваров для того, чтобы добиться власти над римлянами, твоему же правнуку придется побеждать героев-готов для того, чтобы перевоспитывать изнеженных, слабых и робких потомков наших славных предков... Твои римляне были сыновьями Сципионов и Камиллов, мои же сограждане позабыли о славе своих предков и привыкли сносить удары кнута германских завоевателей... Безгранично трудна моя задача, но и безгранично заманчива. Я должен сначала уничтожить готов, затем перехитрить коварных византийцев, победить франков и победоносно пройти от Равенны до Византии, вернуться обратно в Рим через покоренный Париж... Исполнить эту великую задачу помешал тебе, о великий Цезарь, кинжал Брута... Мне не страшны заговорщики, которыми я распоряжаюсь так же, как и германскими варварами, неспособными понять душу истинного римлянина. Но ты, великий предок, ты бы понял меня и... одобрил бы мое намерение воскресить твой Рим из мертвых, пробудить древнюю заснувшую славу матери-родины... Взгляни на меня бессмертными глазами, Юлий Цезарь, и скажи, что Цетегус Сезариус достоин носить твое имя уже потому, что он осмеливается пожелать то, о чем не посмеют даже мечтать обыкновенные смертные... Я же сознательно протягиваю руку к короне Западно-Римской империи, а затем, как знать, что может случиться... Быть может, правнуку Цезаря назначено судьбой объединить насильственно разъединенные половины Римской империи... Вот цель, ради которой стоит рисковать жизнью. В случае же неуспеха?... Что ж с того... Останется слава, такой недостижимой высоты... Не так ли, великий прадед?

Безжизненное лицо мраморного Цезаря не согрелось под жгучим дыханием честолюбивого потомка... Но кто бы узнал всегда спокойного и холодного Цетегуса по лихорадочно возбужденному лицу, которое в трепете страстного вдохновения прижималось пылающим к мраморной щеке своего великого предка?

Х

С назначением Цетегуса префектом Рима новая жизнь началась для Вечного города и в особенности для заговорщиков.

Только теперь, когда по молчаливому согласию всех участников, главой заговора был признан гениальный патриций, под холодной внешностью которого таилось столько же огня, как и хитрости, таинственный союз собиравшихся в катакомбах стал действительно опасен для владычества готов, которое Цетегус подрывал с удивительным дипломатическим искусством, пользуясь каждым обиженным, каждым недовольным.

С не меньшим искусством собирал он громадные денежные средства и вербовал целые полчища людей, ненавидящих варваров и слепо подчиняющихся его влиянию. Римская аристократия подчинялась Цетегусу, как главе заговора и как одному из патрициев. Среди простых граждан его популярность возрастала с поразительной быстротой благодаря отчасти поддержке католического духовенства. Связующим звеном между ним и Цетегусом служил архидьякон Сильверий, все чаще и громче называемый вероятным преемником дряхлого и болезненного папы.

Умный, хитрый и честолюбивый священник повиновался Цетегусу и уступал ему первую роль с самоотверженной скромностью, удивляющей самого префекта больше, чем кого-либо.

Быстрее всех покорила Цетегус римских плебеев, то легкомысленное и увлекающееся стадо, которое восхваляло его не только за исполнение излюбленной программы: доставления хлеба и зрелищ, но и за предоставление всем желающим хорошо оплачиваемой работы.

И все это за счет правительства. Тонко и расчетливо пользуясь правами префекта и делая вид, что исполняет обязанности, возложенные на него правительницей, Цетегус заботился о благополучии граждан Рима, причем искусно пользовался каждым случаем, способным увеличить собственную популярность. Немало полезного сделано было для Рима благодаря Цетегусу, имя которого римская чернь с восторгом повторяла на всех перекрестках. Радостными криками они приветствовали префекта при каждом выезде. Когда же приступили к восстановлению римских укреплений, сильно пострадавших не столько от штурмов варварских полчищ, сколько от нерадивости римских строителей, предпочитавших собственное обогащение безопасности родного города, – то восторгу и благодарности римлян не было границ.

И было за что благодарить Цетегуса, который сумел убедить Амаласунту и Кассиодора в необходимости укрепления Рима, ввиду вероятной войны с Византией. Обманутая правительница выдавала миллион за миллионом на постройку бастионов, о которые должны были разбиться лучшие силы ее войска.

Эти укрепления Рима были любимым детищем Цетегуса. Он понимал, что только в случае изгнания готов без помощи византийского императора за ним останется ореол освободителя. Именно это желание заставило осторожного политика сдерживать пылких заговорщиков. Вызвать взрыв племенной ненависти и перерезать готов, живущих в Риме, быть может, и еще в двух-трех городах, было, конечно, возможно. Но тогда пришлось бы призвать Византию на помощь, чтобы избежать мести варваров. Византийцы же, вступившие на римскую землю, конечно, не пожелают уйти обратно. Великий честолюбец Цетегус не желал «вытаскивать каштаны из огня» для других.

Итак, надо было избежать помощи греков или воспользоваться ею в последнюю минуту, когда освобождение Рима будет уже фактом свершившимся, он же, Цетегус, будет признан освободителем родины и народным героем. Тогда хитрым греческим политикам придется считаться с вождем освобожденного народа. Только в таком случае Цетегус мог быть признан правителем Западно-Римской империи, хотя бы как доверенный императора Византии, вначале, конечно... Если же великое дело пробуждения древней гордости и патриотизма удастся, если

легионы снова двинутся в Германию и, доканчивая мечту Цезаря, Цетегус завоюет столицу коварных Меровингов, тогда никакая византийская армия не в силах будет вырвать царский венец из рук потомка Цезаря, победителя франков.

Но для достижения этой цели Рим должен быть неприступен, и к этой цели стремился Цетегус с лихорадочной быстротой, исправляя и перестраивая древние укрепления Вечного города по собственным планам, гениальность которых вскоре была доказана безуспешными штурмами.

Ключом укреплений Цетегус избрал знаменитую гробницу Адриана, сложенную из громадных глыб полированного мрамора. Этот величественный памятник находился в черте укреплений Рима и не раз служил прикрытием для осажденных. Опытный глаз Цетегуса увидел возможность связать этот природный форт с остальными укреплениями, превращая Аврелианские ворота почти в неприступную позицию.

Несравненно трудней приходилось Цетегусу в Равенне, где он должен был носить маску, несвойственную его гордой натуре. А между тем только тончайшая хитрость могла доставить и сохранить ему влияние над умной, гордой и властолюбивой дочерью Теодорика.

Амаласунта была далеко не обыкновенной женщиной и незаурядной натурой. Пылкая, страстная и вместе с тем рассудительная, дочь Теодорика рождена была не для семейной жизни. Недоступная для любви и нежности, принцесса с детства привыкла считать себя наследницей Западно-Римской империи, и эта мысль убила в ее сердце все женские вкусы и склонности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.